

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



# РУССКИЙ РЕАЛИЗМ XIX ВЕКА

Общество, знание, повествование

**Русский реализм XIX века.  
Общество, знание, повествование**

«НЛО»

2020

Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование /  
«НЛО», 2020

ISBN 978-5-4448-1411-6

Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

ISBN 978-5-4448-1411-6

, 2020

© НЛО, 2020

## Содержание

Введение. «Реализм» и русская литература XIX века	5
Социальное воображаемое и проблема жанров	37
Белинский и «конец искусства»	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование *Сборник статей*

## Введение. «Реализм» и русская литература XIX века

*Маргарита Вайсман, Алексей Вдовин, Илья Клигер, Кирилл  
Осповат*

### *Фантомный «реализм»*

Идея сборника пришла его составителям едва ли не одновременно после одной из конференций о русском реализме. В конце сентября 2016 года Молли Брансон и Белла Григорян провели в Йельском университете представительный коллоквиум «The Russian Century: The Literary, Visual, and Performing Arts, 1801–1917», пригласив исследователей русского XIX века из США, Великобритании и России. В 2017 году эстафету переняла Высшая школа экономики, собравшая коллег из Германии, США, России, Канады и Великобритании на конференцию «Эффекты правдоподобия: режимы и концепции реализма в русской литературе». Наконец, в самом конце того же 2017 года в Университете Нью-Йорка некоторые участники двух предыдущих конференций встретились на воркшопе «What is Russian about Russian Realism?». После него стало окончательно ясно, что доклады всех трех смежных конференций могут составить сборник, представляющий широкий срез подходов к изучению русского реализма или даже «реализмов». Более того, благодаря череде других конференций и семинаров в России, Германии, Великобритании, США и Канаде сложилась международная сеть исследователей, объединенных сходными представлениями о том, как нужно изучать реализм сегодня.

Во-первых, они не чураются многозначного термина «реализм», но стремятся контекстуализировать его и активировать его эвристический потенциал, позволяющий не сводить историю литературы середины и конца XIX столетия к набору авторов и индивидуальных идиом (idioms), но различать за ними транснациональную эстетическую и идеологическую парадигму. Такой подход подразумевает, во-вторых, необходимость сравнительной оптики. История и поэтика русского реализма должны изучаться в соотнесении с иными литературами не просто потому, что таким образом высвечиваются локальные блики, тени и полутона; транснациональная перспектива продуктивна, в-третьих, для социологического подхода к феномену реализма. Речь идет, точнее, о социологической поэтике реализма, обращающейся к «социальному воображаемому» (к этому понятию мы еще вернемся) различных жанров и национальных традиций. На этих основаниях можно объяснить, например, почему один и тот же жанр романа принимает разные формы в разных уголках Европы или Америк<sup>1</sup>. Социологизм продуктивен и тем, что возвращает реализму те контексты, в которые он был помещен самими его создателями и практиками, – в контекст экономики (политическая экономия, утопический социализм, марксизм и т. д.), естественных и общественных наук (позитивизм, социология, физиология, психология, биология и т. д.) и политического воображаемого (социализм, либерализм, теории демократии и суверенитета и т. д.). В-четвертых, такая сознательная открытость самого

---

<sup>1</sup> Недавний обзор ответов на этот вопрос см. в кн.: Моретти Ф. Дальнее чтение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. С. 222–247.

реализма иным рациональным формам познания действительности и симбиоз с ними делают особенно острой и насущной задачу разработать метаязык, который не воспроизводил бы идеи В. Г. Белинского, А. И. Герцена, П. В. Анненкова, К. Маркса, Г. Курбе, Шанфлери, Н. А. Добролюбова, А. М. Скабичевского, В. В. Стасова, П. Д. Боборыкина, Г. В. Плеханова, Г. А. Гукковского и многих других, но позволял бы выявлять и объяснять те идеологические корреляции и констелляции, соотнесения и наложения символических структур и литературных жанров и форм, которые были порождены и валоризированы реализмом.

Мы ожидаем возражений: зачем воскрешать сегодня скомпрометированный термин? Стоит ли пытаться отслоить от схоластических советских наслоений якобы сохранное понятийное ядро? Этот вопрос осложняется и исходной многозначностью понятия «реализм». Еще в 1921 году Р. О. Якобсон на нескольких примерах показал, что оно обладает применительно к литературе как минимум пятью ходовыми и часто смешиваемыми значениями: А – авторская интенция создать правдоподобный текст; В – эффект восприятия какого-либо текста как правдоподобного; С – «сумма характерных признаков определенного художественного направления XIX столетия»; D – насыщение текста фабульно немотивированными деталями, создающими эффект реальности; Е – «требование последовательной мотивировки, реализации поэтических приемов»<sup>2</sup>. Спустя почти сто лет после Якобсона исследователям реализма в разных национальных традициях очевидно, что реализм в значении С, то есть доминирующий литературный стиль середины XIX века, включал в себя значения А, D и отчасти В и Е (в зависимости от рецептивной готовности потребителя признать текст правдоподобным). Несмотря на эту концептуальную сложность или, наоборот, благодаря ей, работа с понятием «реализм», как представляется авторам и составителям этого сборника, обещает быть плодотворной.

Категорически отказываясь от «реализма», мы теряем больше, чем приобретаем. Начнем с того, что с нашего горизонта исчезает сам исторически циркулировавший с 1830-х годов термин, за которым стоял в сознании современников осязаемый, хоть и сложный, феномен. Хорошо известно, например, что французские критики начали оперировать понятием «реализм» применительно к историческим романам задолго до манифестов Гюстава Курбе и Шанфлери, еще в 1830-е годы<sup>3</sup>. В русском контексте моментом подлинного рождения этого литературного понятия и одновременно точкой принципиального расхождения его значений считается 1849 год, когда П. В. Анненков в статье «Заметки о русской литературе 1848 года», опираясь на работы Герцена, разграничил два реализма – «правильный» (Тургенева и Гончарова) и «псевдо» (Ф. М. Достоевского и его последователей). Неудивительно, что уже в 1855 году словарь иностранных слов фиксировал определение «реализма» как «изображения явлений так, как они есть, без прикрас». В последующие годы, когда в «толстых журналах» и вне их стирались границы между литературной критикой, философией и публицистикой, бытовало сразу несколько конкурирующих концепций реализма – от манифеста Чернышевского до «реализма в высшем смысле» Достоевского<sup>4</sup>.

При всем многообразии концепций реализма в середине XIX века представляется непродуктивным, однако же, подменять это родовое понятие видовыми («натуральная школа», нату-

<sup>2</sup> Якобсон Р. О. О художественном реализме // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 387–393. Опубликованная по-чешски статья лишь в 1987 году была переведена на русский.

<sup>3</sup> Гюстав Планш называл реализмом способность исторических романов передавать обстановку ушедших эпох, а в русской критике говорилось (в отрицательном смысле) о господстве «реализма во французской поэзии» (Драма Гюго «Лукреция Борджиа» (окончание) // Телескоп. 1833. Ч. 13. С. 558).

<sup>4</sup> Полноценная история понятия «реализм» в России до сих пор не написана, хотя и существуют отдельные работы литературоведов, искусствоведов и музыковедов (ср. Сорокин Ю. С. К истории термина «реализм» в русской критике // Известия АН СССР. Серия ОЛЯ. 1957. Т. XVI. Вып. 3. С. 193–213). Намного богаче немецкоязычная историография этого понятия (Klein W. Realismus/Realistisch // Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden / Hg. K. Barck, M. Fontius, F. Wolfzettel, B. Steinwachs. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler Verlag, 2003. Bd. 5. S. 149–196). Из числа англоязычных работ нужно упомянуть некоторые статьи 6-го тома «Cambridge History of Literary Criticism» (2013), посвященные эстетике реализма.

рализм, «обличительная литература», этнографическая проза и т. п.): в этом случае мы упускаем из виду комплекс важнейших проблем, объединяющих все эти литературно-культурные феномены середины XIX столетия. Не замечая «реализма» (при том, что мы продолжаем говорить о сентиментализме, романтизме, символизме, акмеизме и прочих «измах»), мы отказываемся от возможности всерьез обратиться к стоящим за этим понятием теоретическим вопросам о репрезентации, о нарративной специфике миметического письма и о социальном воображаемом. Эти и другие вопросы обозначают контуры той особой, отличной от романтизма и символизма, системы производства образов реальности и знания о ней, которую имеет смысл именовать реализмом.

Современная научная дискуссия о русском реализме необходима и возможна без воскрешения очевидно устаревших терминов и способов анализа текста. Такая дискуссия кажется сегодня особенно актуальной, сбросив сам термин «реализм» со своего корабля, российское литературоведение столкнулось с неожиданной проблемой. Зарубежная наука, в которой исследования реализма не были идеологически скомпрометированы, продолжала производить новые модели интерпретации русских текстов середины XIX века и описывать их средствами обновляющегося научного языка. В русскоязычном пространстве тем временем сложился устойчивый дискурсивный дефицит понятий, необходимых для дискуссий о реализме: компенсируя догматическое давление советской эпохи, отечественная наука отказала в важности соответствующим вопросам. Возможности для синхронной работы над новыми способами решения старых проблем оказались сильно ограничены.

Задача исследований реализма как особого режима репрезентации состоит, разумеется, не в том, чтобы выяснить, принадлежит к нему тот или иной текст/автор или нет (чем, как известно, грешило официальное советское литературоведение). Этот широкий термин продуктивен как отправной пункт, концептуальная рамка, позволяющая разметить комбинацию и соотношение смежных дискурсивных полей. Более того, контрпродуктивно понимать литературный реализм как явление, сущностно обособленное от смежных с ним дискурсов (естественно-научного, гегельянского, марксистского, позитивистского и др.). Скорее, под реализмом нужно понимать сложную дискурсивную констелляцию, эксплуатирующую, подрывающую, абсорбирующую и трансформирующую соседние с ней. Каждая статья нашего сборника демонстрирует идеологические связки и символические структуры, которые реализм образует в симбиозе с ключевыми дискурсами эпохи – политическим, экономическим, естественно-научным, метахудожественным и др.

### *Исследования реализма в позднем СССР (1970–1980-е)*

Кризис в изучении реализма в российском постсоветском литературоведении выразился, среди прочего, в отказе от самого термина, в частичном изоляционизме российской науки (в частности, нарратологии) и в страхе перед социологическими подходами к анализу текстов. Характерна в этом смысле обзорная статья В. М. Марковича 1993 года<sup>5</sup>, предупреждающая, что отказ от одного методологического стереотипа (о примате критического реализма) может привести к противоположной догме (очевидно, к отказу от понятия реализма вообще). Чтобы хоть как-то противостоять прогнозируемому забвению реализма, Маркович отнес это понятие к той категории текстов, которую Белинский в предисловии к «Физиологии Петербурга» назвал беллетристикой. Исследователь предположил, что две традиционно

<sup>5</sup> Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построении истории русской литературы XIX в. // Известия РАН. Сер. лит. и яз. М., 1993. Т. 52. № 3; перепечатана: Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построении истории русской литературы XIX века // Освобождение от догм: История русской литературы: состояние и пути изучения: В 2 т. Т. 1. М.: Наследие, 1997. С. 241–249. Цитируется по второму изданию.

считающиеся ключевыми черты реалистического стиля письма – складывающиеся в монистическую систему социально-исторический детерминизм и психологизм – полнее всего проявляются лишь в текстах «второго ряда», а в классических текстах «первого ряда» (Толстого, Достоевского, Тургенева, Лескова и других романистов) исследователям и читателям очевиден выход за пределы монистического рационализма, так что об их творчестве можно говорить как о гибридном – сочетающем элементы романтизма, реализма, натурализма и будущего символизма<sup>6</sup>. Маркович считал, что каждое из литературных направлений XIX столетия одновременно разворачивается как минимум на трех уровнях: на высшем, где шедевры разных направлений подчас неразличимы по стилю; на среднем, где лучше всего проявляется качественное отличие одного стиля от другого; и на низовом (лубочная и низовая, жанровая литературы), где снова царит неразличимость.

Когда Маркович вывел из зоны «чистого» реализма вершинные романы XIX века, он как будто бы дискредитировал предшествующие советские исследования реализма Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова. Между тем лучшие из них – работы Г. М. Фридлендера, Л. Я. Гинзбург и И. П. Смирнова – демонстрируют значимые схождения с западными исследованиями реализма 1960–1990-х годов в понимании наиболее принципиальных проблем реализма: репрезентации, психологизма, детерминированности.

Одну из первых в СССР серьезных попыток разработать созвучную мировой науке теорию реализма предпринял Г. М. Фридлендер в книге «Поэтика русского реализма», проецировавшей на русскую литературу ключевые идеи Э. Ауэрбаха о демократизации репрезентации и о все большем вторжении в нее «низкой» действительности<sup>7</sup>. Отказавшись от сугубо структуралистского подхода к проблеме, ученый рассматривал реализм как возникшую на рубеже XVIII–XIX веков демократическую идеологию, которая лишь к 1830–1840-м годам обрела устойчивые жанровые, стилистические и нарративные формы. Они подчинялись принципам историзма и психологизма (индивидуализации характера), выразившимся на идеологическом уровне в новой модели личности, а на повествовательном – в доминировании внутренних монологов и несобственно-прямой речи<sup>8</sup>. Сложность в изучении реализма в такой перспективе заключалась в том, что эти принципы, взятые сами по себе, были характерны и для исторического и сентиментального идеологического романа 1810–1830-х годов (в первую очередь английского и французского). Чтобы описать неочевидные, но определяющие свойства реализма, необходима была более чувствительная и вместе с тем междисциплинарная оптика.

Значительным шагом в этом направлении стала серия книг Л. Я. Гинзбург: «„Былое и думы“ Герцена» (1957), «О психологической прозе» (1971), «О литературном герое» (1979), «Литература в поисках реальности» (1987). Прошедшая формальную школу 1920-х годов, а позже – блокаду Ленинграда, скорее всего принадлежавшая к квир-дискурсу<sup>9</sup> Л. Я. Гинзбург разработала междисциплинарный подход к реализму и собственный язык его описания. Наряду с ее собственным писательским опытом он вообрал в себя функционализм ОПОЯЗа, социологизм, идеи американской функциональной психологии (в первую очередь Дж. Г. Мида) и широкий сравнительный кругозор, в средоточии которого находилась традиция французской психологической прозы от Сен-Симона до «нового романа»<sup>10</sup>. Такое достаточно редкое для позднесоветской науки сочетание объясняет, почему книги Гинзбург были переведены на европейские языки и легко приживались в западной методологической среде, став ориентиром

<sup>6</sup> Маркович В. М. Указ. соч. С. 243–244.

<sup>7</sup> Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. Л.: Наука, 1971. С. 29–30.

<sup>8</sup> Там же. С. 88, 108–110.

<sup>9</sup> См. об этом: Van Buskirk E. S. Lydia Ginzburg's Prose: Reality in Search of Literature. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2016. P. 109–160; рус. перевод: Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

<sup>10</sup> О соотношении всех этих компонентов в творчестве Гинзбург см.: Зорин А. Л. Проза Л. Я. Гинзбург и гуманитарная мысль XX века // Новое литературное обозрение. 2006. № 76.

для западных исследователей<sup>11</sup>. Из позднесоветских теорий реализма эта, вероятно, оказалась единственной, воспринятой за пределами стран социалистического лагеря. Подход Гинзбург к психологической прозе и границам литературности отличался гибкостью, инклюзивностью и антидогматизмом. Уже введение к книге «О психологической прозе» предлагает отчетливо антиинтерналистский подход к изучению реализма, который оказывается для Гинзбург коррелятом позитивизма, идеологии естественных наук и историографии. Реализм, таким образом, мыслится как локализованное в XIX веке состояние литературной системы, выработавшей особое соотношение между художественной прозой, документалистикой (в первую очередь эго-документами) и наукой. Определение реализма у Гинзбург изоморфно ее исследовательской установке: реализм – это «поэтика не опосредованного готовыми эстетическими формами отношения к действительности»<sup>12</sup>. В основе идеологии реалистического типа письма, по Гинзбург, лежат два базовых принципа – неизбирательность репрезентации (монистический охват, «тотальность» – слово, явно навеянное Лукачем; см. с. 23 нашего введения) и «реалистическая сублимация» (превращение любых явлений реальности в социально-моральные и эстетические нормы)<sup>13</sup>. Оба принципа приводят авторов реалистических текстов к социальному, историческому и биологическому детерминизму, предопределяющему антропологический взгляд на человека<sup>14</sup>.

Антидогматизм подхода Гинзбург хорошо отвечает объекту ее изучения – психологической прозе авторов вроде Толстого и Пруста, у которых характеры оказываются текучими и многослойными, а их нарративная репрезентация базируется на принципиальном несовпадении мотивировки, внутренней и внешней речи и поступков<sup>15</sup>, при этом объектом изображения становятся как раз причинно-следственные связи между этими феноменами<sup>16</sup>. Немного преувеличивая, можно сказать, что для Гинзбург реализм был синонимичен понятию «психологическая проза». Отсюда – широкий хронологический охват ее книг: от мемуаров Сен-Симона и романа Руссо до эпопеи Пруста, а в работах конца 1980-х – вплоть до французского «нового романа» 1950–1960-х, представители которого объявили себя «новыми реалистами»<sup>17</sup>.

В итоговой статье «Литература в поисках реальности» (1985), посвященной реализму, Гинзбург, ссылаясь на появившиеся к тому времени работы по истории понятия «реализм» и на «Слова и вещи» М. Фуко, разграничила три объекта изучения: реальность, реальное и реализм. В отличие от осмысляемой со времен Аристотеля категории реального (то есть правдоподобного, «иллюзии реальности»), реализм «порожден социальными и культурными условиями XIX века»<sup>18</sup>. Именно в эту эпоху произошел окончательный «отказ от обязательной связи чувственно-конкретного с низким, комическим, гротескным, от жанрово-стилистической иерархии и эстетически препарированного, „избранного“ слова»<sup>19</sup>. Это позволило реализму изображать «немотивированные», «случайные» предметы и детали, отточить техники представления

<sup>11</sup> Книга «О психологической прозе» была переведена на чешский, венгерский и английский. Из написанных на Западе работ, так или иначе вдохновленных подходом Гинзбург, укажем на английскую монографию И. Паперно «Семиотика повествования: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма» (1988, рус. пер. – 1996).

<sup>12</sup> Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979. С. 63. Постструктуралистская нарратология 1980–1990-х годов (Р. Барт, Ж. Женетт, М. Риффатер) показала, что такое прямое, в обход эстетических форм, отношение реализма к действительности является сложно устроенной миметической иллюзией. Ср. известную статью Р. Барта «Эффект реальности» или книгу М. Риффатера «Fictional Truth» (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990).

<sup>13</sup> Гинзбург Л. Я. О литературном герое. С. 68.

<sup>14</sup> Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности // Она же. Литература в поисках реальности: Статьи, эссе, заметки. Л.: Сов. писатель, 1987. С. 8.

<sup>15</sup> Она же. О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 321–322, 427 и др.

<sup>16</sup> Там же. С. 295.

<sup>17</sup> Гинзбург Л. Я. О литературном герое. С. 82; Литература в поисках реальности. С. 37–45.

<sup>18</sup> Она же. Литература в поисках реальности. С. 7.

<sup>19</sup> Там же. С. 8.

психических процессов человека, но вместе с тем и выработать «свои механизмы условности», главным из которых Гинзбург считала «рационалистическую трактовку действительности»<sup>20</sup>.

Психологическая аналитика, таким образом, оказывается определяющим признаком реализма. В центре понятия «реализм» у Гинзбург стоит текстуальная техника моделирования человеческой личности – как ее внутреннего психологического континуума, так и социальных проекций и ролей<sup>21</sup>. Последние составляют «символические образы поведения»<sup>22</sup>, которые искусство, и литература в частности, поставляет в социум.

Помещенная в контекст синхронных ей западных исследований реализма, концепция Гинзбург оказывается неожиданно созвучна новаторским работам Доррит Кон, в первую очередь – ее известной книге «Прозрачное мышление»<sup>23</sup>. Написанная одновременно с книгами Гинзбург, работа Кон породила целое направление в нарратологии, с тех пор не оставляющей вопроса о том, какими именно нарративными, стилистическими и дискурсивными приемами создается иллюзия прозрачности сознания персонажей в прозе и является ли эта прозрачность тотальной<sup>24</sup>.

Более того, эта иллюзия доступности мыслительного и эмоционального сознания персонажей многими нарратологами признана фундаментальным свойством прозаического диэге-зиса и жанра романа<sup>25</sup>. Австрийско-немецкий нарратолог Моника Флудерник пошла еще дальше и предложила считать детальную репрезентацию сознания в литературе XVIII–XXI веков именно тем конвенциональным свойством, которым создается эстетический эффект от текста и к которому привыкли с конца XVIII века читатели, потребляющие все больше романов<sup>26</sup>. Это новое понимание нарративности опирается не на традиционную акциональность (actionality), а на переживаемость, имеющую антропоморфную природу («experientiality of an anthropomorphic nature»). Герои произведений в такой перспективе рассматриваются как «прототипически человеческие субъекты», «которые могут совершать физические движения, речевые и мыслительные акты, и все эти действия непременно оказываются связанными с их сознанием, ментальным центром самосознания, интеллекта, восприятия, эмоциональности» («prototypically human existents», «who can perform acts of physical movements, speech acts and thought acts, and their acting necessarily revolves around their consciousness, their mental centre of self-awareness, intellection, perception, and emotionality»)<sup>27</sup>. Как показала Флудерник, исторически и эволюционно такая форма «переживаемости» не существовала с самого начала мировой литературы, но развивалась лишь постепенно в некоторых жанрах – преимущественно в эпической поэзии, драме и романе. В XVIII–XIX веках именно подъем жанра романа и сформировал устойчивое представление о том, что такой режим переживаемости является наиболее естественным, и обеспечил валоризацию этого типа нарратива. Таким образом, «реализм и переживаемость очень во многом пересекаются»<sup>28</sup>.

<sup>20</sup> Там же. С. 30–31.

<sup>21</sup> Она же. О психологической прозе. С. 5–6.

<sup>22</sup> Она же. О литературном герое. С. 46.

<sup>23</sup> Cohn D. *Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction*. Princeton: Princeton University Press, 1978.

<sup>24</sup> Некоторые современные когнитивные нарратологи считают, что не тотально. См.: Herman D. Introduction // *The Emergence of Mind: Representations of Consciousness in Narrative Discourse in English* / Ed. by D. Herman. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2011. P. 10–17.

<sup>25</sup> На русском языке обзор постулирующих этот тезис теорий К. Хамбургер и Д. Кон см. в: Рикер П. *Время и рассказ*. СПб.; М.: Университетская книга, 2000. Т. 2. С. 69–84.

<sup>26</sup> «...effect produced also by the mimetically motivated evocation of human consciousness and of its (sometimes) chaotic experience of being in the world» (Fludernik M. *Towards the Natural Narratology*. London; New York: Routledge, 1996. P. 22).

<sup>27</sup> Fludernik M. *Towards the Natural Narratology*. P. 19.

<sup>28</sup> Ibid. P. 21.

Построения Гинзбург и Флудерник могут быть сопоставлены и с другой влиятельной современной теорией, которая хотя и не напрямую связана с проблематикой реализма, но тем не менее косвенно оказывается в центре дебатов о кризисе классической репрезентации в XIX веке. Речь идет о теории Жака Рансьера, помещающего реализм внутрь большой парадигмы – экспрессивного, или эстетического, режима в истории искусства, сложившегося на рубеже XVIII–XIX веков и радикально перераспределившего «чувственное» (*sensible*) за счет распада строго иерархической жанровой системы предшествующих столетий. Этот распад был вызван постепенным разрушением жесткой корреляции между объектом репрезентации и ее языком, в результате чего в расширяющуюся воронку репрезентации начали попадать предельно низменные и тривиальные фрагменты действительности, лишившиеся привязки к конкретному жанру. По Рансьеру, такой ошеломляюще демократизирующий эффект реализма зиждется на романтической идее прозревания скрытой сущности вещей<sup>29</sup>. Этот вывод хорошо сочетается с концепцией «прозрачного сознания» – приема, стремящегося к всеохватывающему отображению того, что представлено быть не может, – процесса человеческого мышления. При этом идея Рансьера о расподоблении объекта и языка его описания не только совпадает с упомянутым выше тезисом Гинзбург, но и оказывается не столь оригинальной, поскольку в контексте изучения реализма не раз высказывалась на материале разных литератур, хотя, разумеется, без таких далеко идущих выводов<sup>30</sup>.

Среди позднесоветских теорий реализма заслуживает особого упоминания большая статья И. П. Смирнова «Реализм: диахронический подход», опубликованная в 1980 году в журнале «Russian Literature» и переработанная в главу монографии в 2000 году<sup>31</sup>. Написанная в семиотическом ключе (в духе Ю. М. Лотмана), работа Смирнова не просто предлагает рассматривать реализм в корреляции с романтизмом и символизмом, но разворачивает универсальную культурную типологию стилевых ансамблей, именуемых «первичными» и «вторичными» художественными системами или стилями<sup>32</sup>. Эта неудачная терминология (включающая оценочность и заимствованная у Д. С. Лихачева) семиотически классифицирует все художественные стили на основании того, в каких отношениях в них находятся знак и референт. Первичные стили (романеск, ренессанс, классицизм, реализм и постсимволизм) понижают «мир смыслов как продолжение фактической реальности», придавая знаку статус референта, в то время как «вторичные стили» (готика, барокко, романтизм, символизм) наделяют реальность статусом текста, считают ее семантическим универсумом, в котором четко разграничены план выражения и содержания<sup>33</sup>. «„Первичные“ художественные системы (и среди них – реализм) подавляют *форму содержания субстанцией содержания*, „вторичные“ же подчиняют *субстанцию форме*. <...> Именно гипертрофированное внимание реализма к субстанции содержания создало научную традицию, которая отвергает возможность системного подхода к реалистической ментальности»<sup>34</sup>.

Не замыкаясь в сугубо семиотической интерпретации реализма, Смирнов исследует природу манифестации знания и познавательного процесса у писателей-реалистов. Явно пере-

<sup>29</sup> *Rancière J. Mute Speech. Literature, Critical Theory, and Politics / Transl. by J. Swenson. New York: Columbia University Press, 2011. P. 107.* Демократизации чувственного на примере романа Флобера «Госпожа Бовари» посвящена специальная работа Рансьера: *Rancière J. Why Emma Bovary Had to be Killed // Critical Inquiry. 2008. Vol. 34. № 2. Winter. P. 233–248.*

<sup>30</sup> Она возникает у Тынянова, Лотмана и Гинзбург. Из недавних работ см., например: *Пильщиков И., Шапир М. Эволюция стилей в русской поэзии от Ломоносова до Пушкина (набросок концепции) // Стих, язык, поэзия: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: Изд-во РГГУ, 2006. С. 510–546.*

<sup>31</sup> *Смирнов И. П. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М.: Аграф, 2000. С. 21–77.*

<sup>32</sup> Универсализм Смирнова достигает своего апогея в распространенном в 1970-е годы утверждении, что «деление на первичные и вторичные стили имеет психофизиологическое основание – функциональную асимметрию головного мозга» (с. 49).

<sup>33</sup> *Смирнов И. П. Мегаистория. С. 22.*

<sup>34</sup> Там же. С. 43.

кликаясь с идеей Гинзбург о фокусировке реализма на выявлении скрытых причинно-следственных связей между феноменами реальности, Смирнов предложил более нюансированное описание реализма как «системы транзитивных отношений»: «Реализм был поглощен поиском опосредующих звеньев между различающимися элементами мирового целого, производил замещение одного элемента (x) другим (z) на том основании, что оба они обнаруживали связь с некоторой третьей единицей (y), т. е. выступали как аналогичные величины. Другими словами, базисный троп реалистического мышления был (латентно) метафорой»<sup>35</sup>. Следовательно, «главный познавательный инструмент реализма есть аналогия»<sup>36</sup>.

Хотя статья Смирнова богата оригинальными наблюдениями, ракурсами и параллелями, далеко не все из них сегодня выдерживают критику. Главная проблема семиотического подхода к реализму заключается в том, что постулирование универсальных законов и свойств реализма (своего рода контрастная поэтика) не объясняет, как и почему они возникли именно в XIX веке и отчего они таковы. Красивая, на первый взгляд, теория чередования первичных и вторичных стилей отдает упрощающей цикличностью и не оставляет места для рассмотрения социокультурного и экономического контекста литературы.

Выход из методологического тупика зачастую можно найти, обратив внимание на решения сходных научных проблем в смежных областях знания или на ином материале. В разговоре о методологических проблемах современного изучения русского реализма XIX века кажется важным обратить внимание на целый комплекс подходов к реализму, разработанный англистикой на материале Викторианской эпохи. После постструктуралистского открытия иллюзионистской природы реализма как трансисторического типа репрезентации<sup>37</sup> исследования 1980–1990-х годов сконцентрировались на эпистемологии реализма как реально существовавшего направления в европейском и американском искусстве XIX века – конечно же, ни на минуту не забывая о конструктивистских послышках. Чрезвычайно продуктивным оказался взгляд на реализм как на исторически конкретный тип репрезентации, сосредоточившийся на проблеме познания реальности и обращающийся в этих целях к смежным формам и институтам: к естественным наукам, экономике, (био)политике, институтам государственной власти (например, полиции), возникающему искусству фотографии<sup>38</sup>. Фукольдланский и в широком смысле социологический поворот в гуманитарных науках 1970–1980-х годов открыл наиболее интересные возможности для разработок такого рода.

Перед исследователями русского реализма встает серьезная задача рассмотреть под таким углом зрения русский реализм XIX века, фокусируясь теперь не на схоластическом вопросе о том, вписывается ли тот или иной автор или текст в реалистическую парадигму, и даже не на том, какие направления (романтизм, натурализм, символизм или иной -изм) скрепляются в реализме, – а на том, как и при каких формальных и эпистемологических условиях производится реалистический текст, претендующий, как правило, на беспрецедентно точное отображение и познание реальности, и как он встроен, с одной стороны, в дискурсивную сеть своей эпохи, а с другой – в бурно развивающийся процесс капиталистического производства текстов.

В 1990–2000-е годы на русском языке время от времени выходили работы, написанные в таком русле. Укажем здесь лишь на две книги, представляющие собой, как кажется, наи-

<sup>35</sup> Там же. С. 50–51. Этот тезис полемичен к известной идее Якобсона о том, что базовым реалистическим тропом является метонимия (Якобсон Р. О. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 110–132).

<sup>36</sup> Смирнов И. П. Указ. соч. С. 63.

<sup>37</sup> Такой подход был, кстати, свойствен и Ю. М. Лотману, начиная с его спецкурса по «Евгению Онегину».

<sup>38</sup> См.: Realism and Representation: Essays on the Problem of Realism in Relation to Science, Literature and Culture. Madison: Wisconsin University Press, 1993; Pond K. A. What Do We Know? Reconsideration of Victorian Realism and Epistemological Doubt // Literature Compass. 2015. Vol. 12. № 9. P. 471–481.

более продуктивные попытки возобновить серьезное изучение реализма на русском материале. Книга М. С. Макеева «Спор о человеке в русской литературе 60–70-х годов XIX века: Литературный персонаж как познавательная модель человека» (М., 1999), хотя и не касается напрямую реалистической репрезентации, ставит проблему повествовательного моделирования человеческой личности в рамках различных радикальных идеологий 1860–1870-х годов. Опираясь на теории Л. Я. Гинзбург, Л. Гольдмана и К. Мангейма, Макеев показывает, каким именно образом социальные науки о человеке того времени (политическая экономия, физиология, биология, социология Г. Спенсера и др.) и идеологические доктрины (народничество, марксизм) диктовали способы моделирования человеческого поведения, сознания и (не)включенности в историю в текстах Н. Помяловского, В. Слепцова, Ф. Решетникова, Л. Толстого, Б. Маркевича, Н. Чаева, М. Салтыкова-Щедрина, П. Боборыкина и др. Работа Макеева, позволяющая радикально обновить устоявшиеся представления о так называемых «революционных демократах», «революционном движении» и народниках, остается одним из важнейших свидетельств эпохи антидогматизма и методологической свободы 1990-х в российском литературоведении.

Другая яркая попытка пересмотреть традиционную картину русского реализма принадлежит Е. К. Созиной. Комбинируя в книге «Эволюция русского реализма XIX века: семиотика и поэтика» классический семиотический подход с постструктуралистскими теориями Ю. Кристевой и М. Фуко, исследовательница предлагает рассматривать реализм 1840–1880-х годов как особую «дискурсивную формацию» со специфической антропологической, этической и эпистемологической моделью человека и исторического процесса, построенной на детерминизме: «Кроме установки на „жизнеподобие“, в систему реалистических конвенций неизбежно вводится принцип детерминизма; мы стремились наполнить его конкретно-текстовым смыслом – показать реализацию этого принципа в структуре повествования». Как резюмирует Созина, уже в романах Достоевского и Толстого жесткая логика социально-психологического детерминизма осложняется «двойной причинностью», а затем и вовсе растворяется «в вероятности любых объяснительных версий поведения чеховского человека»<sup>39</sup>. В этом тезисе легко усмотреть переключку с идеей В. М. Марковича о том, что вершинные тексты реализма выходят за пределы его поэтики и тем самым проблематизируют ее, – так что реализм оказывается в высшей степени рефлексивным стилем, постоянно переосмысляющим границы и возможности репрезентации.

Стремясь компенсировать дефицит исследовательских подходов к изучению реализма в российской науке, мы остановимся далее на важнейших и наиболее востребованных сегодня проблемных полях в изучении реалистической репрезентации – вопросах социального воображаемого, экономики, естественно-научной эпистемологии и метафикциональности.

### *Социальное воображаемое реализма*

Проблемы репрезентации общественных отношений и производства моделей социальности в литературе реализма получили исходное и, пожалуй, наиболее многостороннее освещение в рамках богатой и философски изощренной традиции западного марксизма. Одной из ключевых фигур в этом ряду стал британский философ-культуролог Рэймонд Уильямс. Его книга «Английский роман от Диккенса до Лоуренса» («The English Novel From Dickens To Lawrence», 1970) открывается впечатляющим списком романов, вышедших в Англии на протяжении двадцати месяцев в 1847–1848 годах: «Домби и сын» Диккенса, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Мэри Бар-

<sup>39</sup> Созина Е. К. Эволюция русского реализма XIX века: семиотика и поэтика: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. С. 113.

тон» Элизабет Гаскелл, «Танкред» Бенджамин Дизраели, «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» Энн Бронте и др. Задаваясь вопросом об определяющих чертах этого поколения писателей, которое мы привыкли связывать со становлением английского реализма, исследователь считает главной из них интерес к проблемам сообщества.

На протяжении почти ста лет, от Диккенса до Лоуренса, эта тема играет определяющую роль. Как устроено сообщество, каким оно было в прошлом, как оно соотносится с индивидами и их взаимоотношениями <...> Ибо в этот период вопрос о том, как должна осуществляться жизнь в сообществе, встает перед обществом острее и тревожней, чем когда-либо в истории<sup>40</sup>.

Говоря о французской литературе этой же эпохи, Эрих Ауэрбах приходит к выводу, что там «политические и социальные предпосылки реалистически точно вплетаются в действие, как ни в одном романе, ни в одном литературном произведении прошлого»<sup>41</sup>. Как показывает в настоящем издании Вадим Школьников, русский реализм складывался в 1840-е годы вокруг понятий «социальность» и «действительность», восходящих к французским и немецким образцам и описывающих модели взаимодействия между индивидами и сообществами.

Влиятельнейшая интерпретация реализма XIX века как течения, занятого описанием и исследованием современного социального мира, была предложена Д. Лукачем. Уже в «Теории романа» (1916), пронизанной терминологией немецкого идеализма, Лукач определяет роман как «эпопею эпохи, у которой больше нет непосредственного ощущения экстенсивной тотальности жизни, для которой жизненная имманентность смысла стала проблемой, но которая все-таки тяготеет к тотальности»<sup>42</sup>. Уже в этом тексте Лукача «тотальность» практически синонимична с общественной жизнью; позднее он опишет их тождество в марксистских категориях. В памятном разборе «Утраченных иллюзий» Бальзака Лукач предлагает читать этот роман как систематический анализ неотвратимого «превращения духа [т. е. сознательной человеческой деятельности] в товар» в буржуазном обществе и его последствий для общественных институтов, взаимоотношений между людьми и отдельной личности<sup>43</sup>. Согласно Лукачу, Бальзак создает широкую картину современного общества как сети тончайших взаимосвязей, подчиняющихся общей логике и проявляющихся в перспективе субъекта в отчуждении (от общественных процессов, конкретных лиц, собственных творческих возможностей). «Действительность», таким образом, предстает социально и исторически обусловленной системой общественных отношений. Ее закономерности являются индивиду во враждебном облики, разрушающем надежды, желания и идеалы. В судьбе отчужденной личности манифестируется властвующий над ней общественный (бес)порядок. Такой взгляд – представленный не в последнюю очередь в советском сборнике Лукача «К истории реализма» (1936), куда вошла и работа о Бальзаке, – стоял за заезженным термином «критический реализм» в советской науке о литературе XIX века, а также за понятием «трагического реализма» у западных исследователей, более или менее прямо связанных с наследием «марксистского гуманизма»<sup>44</sup>.

Такой подход позволяет осмыслить исторические импликации реализма, однако чаще всего оставляет в стороне тот факт, что само понятие *общества* в его абстрактном и всеобъемлющем значении только складывалось в обсуждаемую эпоху. В этом процессе реалистические тексты играли узловую роль. Бальзак объявлял, что его «Человеческая комедия»

<sup>40</sup> Williams R. The English Novel from Dickens to Lawrence. New York: Oxford University Press, 1970. P. 12.

<sup>41</sup> Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976. С. 453.

<sup>42</sup> Лукач Г. Теория романа (Опыт историко-философского исследования форм большой эпики) // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 32.

<sup>43</sup> Лукач Г. «Утраченные иллюзии» // Лукач Г. К истории реализма. М.: Гослитиздат, 1936. С. 215.

<sup>44</sup> См. Orr J. Tragic Realism and Modern Society: Studies in the Sociology of the Modern Novel. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1977.

должна соперничать с институтами государственного учета гражданского состояния (l'État-Civil), учрежденными Французской революцией – важнейшим биополитическим инструментом конструирования общества в его специфически-модерном понимании. В исследовании Мэри Пуви «Конструирование общественного тела: становление британской культуры в середине XIX в.» («Making a Social Body: British Cultural Formation, 1830–1864», 1995) описана роль английского романа среди конкурирующих модусов осознания и воображения постепенно возникающей общественной цельности. Бенедикт Андерсон в классической работе «Воображаемые сообщества» видит в романе Нового времени узловую символическую форму складывающейся нации как огромного единого «социологического организма, движущегося по расписанию сквозь гомогенное, пустое время»<sup>45</sup>.

Фредерик Джеймисон в книге «Политическое бессознательное: повествование как социально-символический акт» («The Political Unconscious: Narrative As A Socially Symbolic Act», 1981) возобновляет намеченное Лукачем направление мысли, но придает ему отчетливое продуктивистское измерение. Литература реализма предстает у него инструментом распространения специфических представлений об обществе, отвечающих и подчиняющихся логике расширяющегося капиталистического рынка. В этом своем качестве реалистические сочинения оперируют на уровне общественного воображения, размывая социальные – и соответствующие им жанровые, стилистические и повествовательные – границы и формы. Они стирают дифференцированность действительности, позволяя тем самым рационализировать и исчислить ее, облегчая победу товарной формы в общенациональном масштабе. Таким способом реалистическая литература создает «то самое „означаемое“ – вновь сложившееся исчислимое пространство экспансии и рыночной эквивалентности, новый секулярный и „расколдованный“ предметный мир товарной системы, с его посттрадиционным бытом и приводящей в замешательство „бессмысленно“-эмпирической случайной средой, *Umwelt*, реалистическое отражение которой этот новый повествовательный дискурс затем поставит себе в заслугу»<sup>46</sup>.

Между теорией отражения Лукача и ее продуктивистской реинтерпретацией у Джеймисона лежит важнейший методологический сдвиг в (левых) историцистских подходах к литературе. Этот сдвиг связан с несколькими именами и направлениями, вышедшими на авансцену в 1960–1970-х годах. Важное место среди них занимал уже упомянутый Реймонд Уильямс, один из основателей *cultural studies*. Возобновляя восходящее к Грамши понятие гегемонии, Уильямс описал при его помощи активную (а не просто «отражающую») роль культурного производства в формировании и распаде общественных формаций. Не менее важна и предложенная Луи Альтюссером реинтерпретация работы идеологии и введенные им понятия «структурной причинности» (узловой для перетолкования Лукача у Джеймисона) и «относительной автономии» (важной для Пуви и других). Расцвет «нового историцизма», хотя хронологически следовал за работами Джеймисона, опирался на генеалогические исследования Фуко (к нему мы еще вернемся). Наконец, отечественная школа семиотики культуры, чье воздействие признают важнейшие представители нового историцизма, отказывается и от упрощенной веры в эстетическую автономию литературы, и – в полемике с официальным марксизмом – от подхода к ней как типическому отражению заданной социальной реальности. Вместо этого литература предстает «моделирующей системой» – символической формой, в которой кристаллизуются и артикулируются общественные представления о социуме и личности. Классический пример этого подхода – работа Лотмана «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века». На нее опирается, существенно развивая ее, уже упомянутая важнейшая монография И. Паперно «Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи

<sup>45</sup> Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. В. Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. С. 47.

<sup>46</sup> Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981. P. 152.

реализма» (1988), исследующая «реализм» как эстетическую систему и историческую констелляцию. И у Лотмана, и у Паперно литературные тексты рассматриваются как модели для самосознания и поведения. В западных «продуктивистских» описаниях реалистического общественного воображения исторический анализ самосознания чаще всего уступает место более спекулятивным способам аргументации. Это можно связать, в частности, с тем фактом, что в Англии и Франции XIX века мы имеем дело с намного более массовой читающей публикой, что заставляет рассуждать в более общих категориях (таких, как «класс», «нация» и т. п.), а не анализировать отдельных читателей или читательские кружки.

Несколько менее известны – и, вероятно, не столь прямо применимы в литературоведении – работы Корнелиуса Касториадиса, чьим термином «социальное воображаемое» (*l'imaginaire social*) озаглавлен один из разделов предлагаемого издания. Их проблематика, однако же, прямо связана с очерченными выше вопросами. В книге «Воображаемое установление общества» («*L'Institution imaginaire de la société*», 1975) Касториадис определяет общественное воображаемое как коллективный процесс артикуляции и распределения социальных позиций и смыслов, концептуально предпосланный самому различию между субъектом и объектом и определяющий способы осуществления этого различия в каждой конкретной общественной конфигурации. Коллективное действие учреждения общества в воображаемом, пролегающее глубже деления на означение и существование, может быть понято как ряд молчаливых ответов на произнесенные вопросы о природе этого общества: «кто мы есть как коллектив? чем мы являемся друг для друга? где мы, чего мы хотим, к чему стремимся и чего нам недостает?»<sup>47</sup> – ответов, лежащих в основе всякого социального действия и взаимодействия. Касториадис спорит с теми из марксистов, кто настаивает на радикальном различии между производством и воспроизводством человеческой жизни и «смыслом, который [эта деятельность] в себе несет». «Труд людей (как в самом узком, так и в самом широком смысле этого слова) через свои характеристики – объекты, цели, приемы, инструменты – указывает на специфичный для каждого общества способ постижения мира, определения себя как потребности, на отношения к другим человеческим существам»<sup>48</sup>. В этой перспективе не остается места жесткому разделению на базис и надстройку, на которое опираются истолкования реализма как «отражения действительности». Не остается оснований и для прямолинейных представлений об эстетической автономии. Вместо этого можно заключить (возвращаясь к нашей теме), что реалистическая литература возникает параллельно с современным представлением о социальном субъекте как таковом. Черпая повествовательные и концептуальные модели из современных ему сценариев общественной жизни, реализм – может быть, даже более интенсивно, чем литература других эпох, – участвует в производстве социального воображаемого и, таким образом, имеет прямые – хотя зачастую осложненные противоречиями – социополитические последствия.

Предпосылки такого рода заметны в нескольких работах настоящего сборника. Так, Вадим Школьников исследует судьбу гегельянского тезиса о конце искусства в сочинениях Белинского и показывает, как критик приходит к представлению о реалистическом искусстве как форме общественного действия. Критическая мысль Белинского, в которой складываются очертания русского реализма, оказывается настолько же удалена от теории отражения, как от чистого эстетизма. Она созвучна скорее идеям нашего времени об активно-конструктивистских отношениях реализма к «жизни». В статье Кирилла Зубкова о «Губернских очерках» Щедрина речь идет о том, как в формальной организации повествования обнаруживается отказ от логик типизации и нарративного означения действительности. Общественные факты пред-

<sup>47</sup> Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. Г. Волкова, С. Офертас. М.: Гнозис, 2003. С. 165.

<sup>48</sup> Там же. О социальных воображаемых Нового времени см.: *Taylor Ch. Modern Social Imaginaries*. Durham; London: Duke University Press, 2004. Новейшие статьи о работе социального воображения у Достоевского и Толстого см. в блоке «Литературная эпистемология социального» (Новое литературное обозрение. 2019. № 1 (155)).

стают читательскому взгляду без опосредующего повествовательного истолкования. От читателя требуется активная позиция: он должен сам прочертить связи описанных персонажей и событий с собственным социальным миром.

В самом акте чтения, таким образом, порождается новый тип субъектности – позиция политически активного гражданина. В этом смысле выкладки Зубкова напоминают о выводах Кэтрин Гэллэгер, устанавливающей взаимосвязь между развитием фикциональности (повествовательного модуса, требующего от читателей специфического сочетания веры и недоверия) в английском романе XVIII века – и становлением определенного модуса субъектности, построенного на иронии, рефлексии и готовности к кредитным расчетам и отвечающего условиям формирующейся капиталистической модерности<sup>49</sup>.

Посвященная отразившимся в «Анне Карениной» историческим контекстам работа Михаила Долбилова освещает границу между текстом и действительностью, так сказать, с другой стороны. Здесь налицо «структурная причинность», связывающая внутритекстовые темы – поиск героем подобающей формы чувств, укореняющей его в мире (в данном случае веры), – с разворачивающимся в исторической действительности всплеском религиозно-патриотического энтузиазма по поводу войны на Балканах. Иными словами, здесь мы имеем дело не со способностью текста артикулировать социальное воображаемое и таким образом воздействовать на субъектность читателей, – но с обратной способностью контекста деформировать аффективную организацию художественного мира, сдвигать ее аксиологические установки, менять акценты, вводить новые «структуры чувства», соотнесенные с аналогичными структурами общественного опыта.

Понятие «структур чувства» было введено Реймондом Уильямсом и обозначает насыщенные аффектами имплицитные представления о мире, опирающиеся на определенные сценарии социальности и зачастую артикулируемые в художественных произведениях. За этим переплетением аффекта с социальным воображаемым встает вопрос о роли эмоций в общественном существовании. Так, Уильямс говорит о смене общественного отношения к бедности в викторианской Англии благодаря, в частности, романистам вроде Диккенса и Эмили Бронте<sup>50</sup>. Долбилов прослеживает в «Анне Карениной» нормативный пласт такого рода, касающийся еще более фундаментальных представлений о том, что должно и не должно считаться истинным чувством (тихое, личное, несводимое к разумным основаниям, но не противоречащее им, – а не экзальтированное, публичное, демонстративно-иррациональное). В «Анне Карениной» – как вообще у Толстого – специфически-политические аффекты неизбежно находятся под подозрением. Напротив того, в фокусе работы Кирилла Осповата о сентиментальной поэтике «Бедных людей» Достоевского располагаются именно политические аффекты. Как и у Уильямса, речь тут идет об отношении к бедности и беднякам. Осповат описывает сложную «структуру чувства»: возмущение и ужас соседствуют с отстраненным состраданием, отвечающим устройству сентиментального повествования как эстетического объекта и рассчитанного на продажу на книжном рынке товара. Сам акт изображения «бедных людей», привлекающий внимание к их беде, соотнесен с актом политического представительства и подчинен той же

<sup>49</sup> Gallagher C. The Rise of Fictionality // The Novel / Ed. by F. Moretti. Princeton: Princeton University Press, 2006. Vol. 1. P. 336–363. Вместе с тем рассмотренный Зубковым материал высвечивает особенности русской ситуации, в которой нероманские жанры – физиологический очерк, цикл очерков, рассказ, повесть, хроника и даже эпос – играют более или менее узловую роль в формировании реализма и в его каноне. Жанр, понятий как «договор между писателем и читателем», приводящий в действие «определенные ожидания» и таким образом обуславливающий «и соблюдение, и нарушение принятых форм понимания», оказывается важнейшим моментом текстуального порождения и воспроизводства социального воображаемого. См.: Culler J. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975. P. 147. В этом отношении, как и во многих других, выстроенные вокруг романа западные теории реализма должны подвергнуться трансформации и обогащению при столкновении с русским реализмом и его жанровым многообразием.

<sup>50</sup> См.: Williams R. Marxism and Literature. Oxford; New York: Oxford University Press, 1977. P. 132–134. См. также новейшую работу Джеймсона об аффектах в литературе реализма, о которой пойдет речь ниже: Jameson F. The Antinomies of Realism. London; New York: Verso, 2015.

самой дилемме: как участие в политической сфере возможно только при условии отчуждения своих прав в пользу другого, так и «бедные люди» появляются в романе как товар, отчужденный предмет эстетического потребления. Эстетическое сочувствие одновременно открывает глаза на бедность и нейтрализует политические последствия этого акта.

Выводы Осповата в известной степени согласуются с заключениями статьи Беллы Григорян о «Неточке Незвановой». И в этом романе исходно политический импульс образования, *Bildung*, связанный с обещанием политической уполномоченности, нейтрализуется превращением его в товар. В центре внимания Григорян стоят не столько аффекты, сколько жанры «средней» словесности и различного рода объекты – товары, при помощи которых героиня-повествовательница учится привлекать и удерживать внимание читателя. В «Неточке Незвановой» главное достижение *homo narrans* – превращение в *homo oeconomicus*.

Обе эти работы, прослеживающие механику обезвреживания политического, могут быть соотнесены с недавним тезисом Джеймисона о принципиальной антиполитичности реалистической поэтики:

Онтологический реализм, утверждающий осязаемую устойчивость существующего – будь то в сфере психологии и чувств, институтов, предметов или пространства – не может, по самой природе своей, не видеть угрозы в любом представлении о том, что все это подлежит переменам, а не онтологически неизменно. Сам выбор этой формы означает профессиональное одобрение существующего порядка, присягу на верность, подразумеваемую усвоением этой эстетики<sup>51</sup>.

По сравнению с аналогичным тезисом из «Политического бессознательного» можно заметить некоторый сдвиг акцента. «Эффект реальности», он же «принцип реальности», теперь понимается не как форма артикуляции социального воображаемого, оправдывающего складывающийся мир товарного производства, но как способ утверждения и обороны дисциплинарных институтов, аффектов и идеологем: домашности, быта, гендерных ролей, личной благотворительности, ужаса перед радикализмом и т. п. Действительно, между публикацией «Политического бессознательного» в 1981 году и работы 2006 года в изучении реализма произошел своего рода «дисциплинарный поворот». Под воздействием генеалогических исследований Фуко – о клинике, тюрьме и сексуальности – исследователи стали говорить о деятельной силе литературы в сфере социального воображения и структур чувства<sup>52</sup>, о способности романа «создавать» реальность, сообщая *действительность* господствующим дискурсам, институтам и модусам «распределения чувственного» (Рансьер)<sup>53</sup>.

Образцовыми примерами этого исследовательского направления стали две вышедшие почти одновременно книги: «Желание и литература домашности: Политическая история романа» («Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel», 1987) Нэнси Армстронг и «Роман и полиция» («The Novel and the Police», 1988) Д. А. Миллера. В обеих работах викторианский реализм предстает проводником дисциплинарной власти, скрывающейся в определенных формальных приемах (сюжетной законченности, всеведущего повествователя, несобственно-прямой речи) или морализирующем языке домашности и нормативных гендерных ролей. По словам Армстронг, возникновение буржуазной домашности и ее социального воображаемого приводит к вытеснению других способов устройства человеческих взаимоотно-

<sup>51</sup> Jameson F. The Experiments of Time: Providence and Realism // The Novel. Vol. 2. P. 112–113.

<sup>52</sup> Протицируем выразительную формулировку Нэнси Армстронг: «внутренний состав любого текста есть история его борьбы с противоположными изобразительными формами за власть над семиозисом. В этом отношении различия между тем, что внутри текста, и тем, что вне его, не существует» (Armstrong N. Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel. Oxford; New York: Oxford University Press, 1987. P. 23).

<sup>53</sup> См.: Ranciere J. The Politics of Literature // SubStance. 2004. Vol. 103 (33.1). P. 10–24.

ношений, переводя «обширные зоны культуры в сферу заблуждения и шума»<sup>54</sup>. Миллер так описывает итог этого процесса: «Смысл этого упражнения [романа], – беспрестанно внушаемый и романскими темами, и сопутствующими романной форме условиями домашнего эстетического потребления, – состоит в том, чтобы утвердить читателя в роли „либерального субъекта“»<sup>55</sup>.

Этот подход к литературе как носительнице единых и обобщающих форм социального воображения подвергся критике во влиятельной работе Ив Кософски Седжвик «Трогательные чувства: аффект, педагогика, перформативность» («*Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity*», 2003). Размышляя, среди прочего, о книге Миллера, Седжвик описывает охватившую «почти все литературоведение» сильнейшую склонность к тому, что Поль Рикер называл «герменевтикой подозрения». Осознание того факта, что художественные тексты не только «отражают» или «познают» мир, но воздействуют на него, привело к возникновению «бесконечно воспроизводимых в исследовании и обучении моделей разоблачения», ставших «ходячей монетой в исторических исследованиях культуры и литературы»<sup>56</sup>. Необходимость разоблачать притязания «либерального субъекта», пишет исследовательница, могла быть уместна в 1960–1970-х, но совершенно не к месту в «ксенофобской Америке Рейгана, Буша, Клинтона, Буша, где понятие „либерального“ оказалось чуть ли не табуированным, а к „секулярному гуманизму“ относятся как к маргинальной религиозной секте»<sup>57</sup>. Фуко и вдохновленные им литературоведы разрабатывали критическую генеалогию социального государства и заложенного в нем дисциплинарного «пастората». Но что делать с такой критикой в эпоху, когда социальное государство демонтируется вместе с «либеральным субъектом», когда власть все больше полагается на открытое, а не скрытое, насилие, и когда – в рамках того, что Петер Слотердайк называет «циническим разумом», – тезис о том, что факты порождаются манипулятивными приемами, превратился из орудия критики в общее место?

Размышления Седжвик и других теоретиков<sup>58</sup> привели некоторых исследователей к отказу от модели «параноидальной», «подозрительной» или «симптоматической» интерпретации как таковой. Вместо этого они призывают к посткритическому повороту и возвращению узкоэстетических подходов к литературе<sup>59</sup>. Сама Седжвик, однако, занимает иную позицию. Она предлагает противопоставить преобладающей в гуманитарных науках паранойе так называемое «восстановительное чтение» («*reparative reading*»). Прибегая к своего рода фигуральному психологизму, она предлагает различать два этих подхода по характеру связанного с каждым из них страха. Если параноидальная интерпретация отправляется от страха подвергнуться тайному надзору, быть одураченным скрытой властью при помощи образования, клиники, нормализации, деполитизации – то «восстановительное чтение» исходит из опасений, что «окру-

<sup>54</sup> *Armstrong N.* Op. cit. P. 24.

<sup>55</sup> *Miller D.* The Novel and the Police. Berkeley: University of California Press, 1988. P. x. См. также: *Moretti F.* The Way of the World: The *Bildungsroman* in European Culture / Transl. by A. Sbragia. London; New York: Verso, 1987. P. 16.

<sup>56</sup> *Sedgwick E.* Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham: Duke University Press, 2003. P. 143.

<sup>57</sup> *Ibid.* P. 140.

<sup>58</sup> *Latour B.* Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern // *Critical Inquiry*. 2004. Vol. 30 (Winter). P. 225–248.

<sup>59</sup> См.: *Felski R.* The Limits of Critique. Chicago: Chicago University Press, 2015; Critique and Postcritique / Anker E., Felski R. (eds) Durham: Duke University Press, 2017; *Best S., Marcus Sh.* Surface Reading: An Introduction // *Representations*. 2009. Vol. 108 (Fall). P. 1–21. Сформулированный Седжвик призыв к восстановительному чтению нашел широкий отклик, в том числе среди современных сторонников так называемого «поверхностного чтения», опирающегося на традиционные представления об автономности эстетического объекта. Однако, как показывают приводимые Седжвик примеры, ее собственные идеи имеют отчетливый политико-утопический акцент, связанный не столько с поиском эстетического наслаждения, сколько с размышлениями о более совершенных формах сообщества. Впрочем, по традиции, восходящей к «Письмам об эстетическом воспитании» Шиллера, исследовательница, кажется, не противопоставляет этих вопросов. Более полное представление о дебатах вокруг поверхностного чтения можно получить из работ: *Kornbluh A.* We Have Never Been Critical: Toward the Novel as Critique // *Novel: A Forum on Fiction*. 2017. Vol. 50. № 3. P. 397–408; *Anderson A.* Therapeutic Criticism // *Ibid.* P. 321–328.

жающая [тебя] культура не способствует [твоему] становлению или враждебна ему» (Р. 150). Этот страх восстановительное чтение стремится облегчить не столько опережающей критикой, сколько рефлексией об иных возможных формах социальности, лучше отвечающих благоденствию человека (сама Седжвик приводит в пример кэмп).

Идея восстановительного чтения у Седжвик перекликается с представлением Касториадиса о беспрестанно действующем социальном воображаемом, порождающем все новые институциональные и «психо/соматические» артикуляции общественного существования. Кроме того, она ставит вопрос о судьбе форм и практик – критических или восстановительных, – разработанных в одной социальной констелляции с ее трудностями, при переходе в другую общественную формацию: такую, например, которая оставляет меньше места для правовых притязаний (Григорян); в которой дисциплинированный «либеральный субъект» не одерживает победы (Эмма Либер); или в которой господствующая модель сообщества опирается на понятие государства (Илья Клигер). Статья Либер, рассматривающая «Братьев Карамазовых» в психоаналитической перспективе на фоне «Холодного дома» Диккенса, ближе всего подходит к модели восстанавливающего чтения. Роман Достоевского понимается здесь как эмансипаторный текст, отрицающий аппараты наказания. Опираясь на православную духовную традицию, Достоевский разрабатывает недисциплинарный и не-эдипальный взгляд на семью и закон и даже как будто указывает на возможность совершенно иных («queer») форм сообщества. В работе Либер эдипальная модель уступает место другой, связанной с Антигоной; русский роман в таком прочтении перекликается с вопросом Джудит Батлер о том, как бы выглядел психоанализ, если бы его точкой отсчета стала Антигона. Клигер также обозначает ограниченность дисциплинарной парадигмы. Очерчивая три разные конструкции социальности, представленные в европейском реализме, он добавляет к ним четвертую, извлеченную из «Обыкновенной истории» Гончарова. У истоков русского реализма Клигер обнаруживает идею прямой насильственной власти, трансисторически соотнесенную с нынешним моментом, который Седжвик и другие описывают в категориях постдисциплинарности и неолиберального демонтажа социального государства.

В то время как западные исследователи реализма разработали богатейший инструментарий для анализа литературной социальности, аналогичные изыскания в области русской литературы были ограничены узкими пределами официального марксизма, с одной стороны, и стремлением максимально удалиться от него, с другой. Нам выпадает, таким образом, замечательная возможность пересечь устоявшиеся границы: испытать продуктивность западных подходов для изучения русской литературы и вместе с тем перестроить и обогатить эти подходы, опираясь на русский материал. Хочется надеяться, что исторически сложившийся разрыв и порожденная им необходимость перевода откроют путь для того, что Лотман называл «новой информацией».

### *Экономика реализма*

Общественное существование и его закономерности, улавливаемые и провозглашаемые средствами реалистической словесности, могут описываться – как показывают статьи в настоящем томе – в категориях государственного порядка и закона; гражданского общества и прав человека; и, наконец, экономики. Эти понятия и сопряженные с ними категориальные системы не столько указывают на различные сферы исторической жизни, сколько представляют собой взаимно соотнесенные, конкурирующие и взаимодействующие модусы осмысления и изображения ее тотальности. Идея государства, управляющего судьбами средствами административной иерархии во имя имперского суверенитета, категориально отлична от представления о горизонтальных структурах общества или рынка, определяющих повседневное существование через случайности личных столкновений и финансовых обстоятельств, – однако это раз-

личие диалектически снимается в тот момент, когда политический и экономический порядок обнаруживают свое тождество<sup>60</sup>. Так, во вступлении к «Физиологии Петербурга», одному из важнейших манифестов русского реализма, Белинский диагностирует «неустановившийся и пестрый характер самой нашей общественности», и ищет спасения не только в коммерческом принципе «корысти», которая «так же хорошо связывает, как и разделяет людей, и <...> не может быть непреодолимою помехою для дружной совокупной деятельности», но и в суверенной воле Петра I, основавшего на началах «расчета» Петербург и обновленную империю<sup>61</sup>.

Экономика оказывается в этой перспективе далеко не только сферой бытования книжного рынка, о котором в основном идет речь в многочисленных социологических исследованиях русского реализма (к ним мы еще вернемся). Она оборачивается формой существования общества как такового в эпоху прогресса и *модерности*. Для исследований реализма принципиально важно осмысление этой проблематики у Вальтера Беньямина. В знаменитой работе, – посвященной не в последнюю очередь русской литературе, – «Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова» (1936) Беньямин описывает рассказ и роман как повествовательные формы, принадлежащие разным общественно-экономическим формациям. В основе эпического рассказа лежит «опыт, передаваемый из уст в уста» крестьянами, мореплавателями и ремесленниками старых времен, в то время как роман складывается по мере формирования «классического капитализма» и свойственных ему форм отчуждения личности: «Автор романа находится в изоляции. Место рождения романа – это индивидуум в одиночестве <...> Находясь в водовороте жизни и рассказывая о нем, роман демонстрирует глубокую растерянность живущего». Если в рассказе сосредоточивается традиционная «мудрость, эпический аспект истины», то роман сродни новым медиа:

Поскольку важнейшим инструментом классического капитализма является пресса, мы наблюдаем, как по мере укрепления господства буржуазии появился способ общения, на который <...> эпические формы до того никогда не имели определяющего влияния <...> Этот новый способ общения – информация <...> приходящая издали информация интересует людей гораздо меньше, чем то, что относится к событиям ближайшего окружения <...> информация претендует на немедленную проверку. <...> Зачастую она не более точна, чем вести былых времен. Но если предания часто основаны на чудесах, то непременным условием для информации является убедительность. Именно поэтому она несовместима с самим духом повествования<sup>62</sup>.

Предложенная Беньямином схема описывает медиальные свойства различных повествовательных форм на фоне масштабного исторического сдвига, который сам Беньямин связывает с приходом «классического капитализма». Этот сдвиг был в XIX веке предметом интенсивной рефлексии: в России наступление «железного века» и сопутствующей ему коммерческой журналистики провозглашали Пушкин в «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) и С. П. Шевырев в статье «Словесность и торговля» (1835), а в Германии Гегель и Гейне говорили в сходном смысле о «конце искусства». От их тезисов отправляется социологическое рассмотрение русской литературы 1825–1842 годов в коллективной монографии под редакцией Й.-У. Петерса и У. Шмидта (2007)<sup>63</sup>. В нашем сборнике эта тема разрабатывается

<sup>60</sup> Vogl J. Kalkül und Leidenschaft: Poetik des ökonomischen Menschen. Zürich: Diaphanes, 2011.

<sup>61</sup> Белинский В. Вступление // Физиология Петербурга / Подгот. текста и коммент. В. И. Кулешова и А. Л. Гришунина. Л.: Наука, 1991. (Серия «Литературные памятники»). С. 10.

<sup>62</sup> Беньямин В. Озарения / Пер. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. М.: Мартис, 2000. С. 348–349.

<sup>63</sup> Das «Ende der Kunstperiode»: kulturelle Veränderungen des «literarischen Feldes» in Russland zwischen 1825 und 1842 / Hg. J.-U. Peters, U. Schmidt. Bern: Peter Lang, 2007.

в статье Вадима Школьников, очерчивающего гегельянские представления позднего Белинского о «конце искусства», «социальности» и сродстве литературы с наукой как составляющих зарождающегося реализма.

Из выкладок Бенямина, опирающихся на классическую немецкую эстетику и прежде всего размышления Шиллера «о наивной о сентиментальной поэзии», можно заключить, что новая литература не только отображает наступившую модерность, но и черпает эстетическую энергию из столкновения с прошедшими временами и их пережитками, или *обломками*. (Из статей Шиллера и стихов Баратынского о «предрассудке» как «обломке древней правды» это понятие переходит в заглавие «Обломова», посвященного вытеснению аграрной утопии железнодорожно-торговой современностью<sup>64</sup>.) Уходящее прошлое оказывается важнейшим тематическим и формальным *ресурсом* реалистической литературы; можно согласиться с Бенямином, что многие сочинения Лескова представляют собой разительные примеры этой закономерности. Посвященная другим писателям (Тургеневу, Толстому и Мельникову-Печерскому) статья К. Каминского и Э. Мартина в предлагаемом томе вскрывает узловое место «архаических» художественных и хозяйственных форм и отношений к природе в реалистической прозе, осмысляющей и эстетизирующей процесс культурной, аграрной и экономической модернизации.

В ситуации модерности, определяющей себя через постоянное вытеснение старого мира новым, экономика – чей всеобщий охват виден, например, по расширительным значениям английских эквивалентов *commerce* и *economy*, – обуславливает работу реалистической репрезентации. Специалистам по русской литературе XIX века этот факт хорошо известен из социологических исследований писательской деятельности в контексте книжного рынка – от работ Б. М. Эйхенбаума о «литературном быте» и выпущенной его учениками коллективной монографии «Словесность и коммерция» до новейших работ А. И. Рейтблата и американской «новой экономической критики», еще в 2002 году (№ 58) представленной русскому читателю в «Новом литературном обозрении».

Статьи составленного У. Тоддом еще в 1978 году сборника «Литература и общество в России имперского периода»<sup>65</sup> касаются разнообразных вопросов социального бытования литературы – от формы и критических истолкований социального романа до поэтики и экономики чтения. В немецкоязычном литературоведении, где исторические и теоретические соотношения литературы и экономики вообще принадлежат к числу востребованных тем, эта линия была продолжена сборником под редакцией А. Гуске и У. Шмидта «Литература и коммерция в России XIX в.: институты, акторы, символы»<sup>66</sup>. Анализ художественных сочинений (в частности, Пушкина и Гоголя) соседствует тут с работами о социологии литературы и историко-экономическими исследованиями кредитной системы и типов предпринимательства.

На традицию «новой экономической критики» опирается и книга М. С. Макеева «Николай Некрасов: поэт и предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики)», в которой рассмотрение экономических условий литературной деятельности и их отражений в художественных текстах дополняется анализом более фундаментальных взаимоотношений между экономикой и реалистической репрезентацией. Организационная форма журнала и лирическая форма некрасовских стихов оказываются укоренены в общей рефлексии об устройстве общества и высказывания в эпоху капитала и торговли.

Эта укорененность может быть описана средствами социально-медиаанализа литературной формы, предложенного Бенямином в «Рассказчике» и написанной вслед за

<sup>64</sup> См.: Тирген П. Обломов как человек-обломок: (К постановке проблемы «Гончаров и Шиллер») // Русская литература. 1990. № 3. С. 18–33.

<sup>65</sup> Literature and Society in Imperial Russia, 1800–1914 / Ed. W. M. Todd III. Stanford: Stanford University Press, 1978.

<sup>66</sup> Literatur und Kommerz im Russland des 19. Jahrhunderts: Institutionen, Akteure, Symbole / Hg. A. Guski, U. Schmidt. Zürich: Pano Verlag, 2004.

ним книге «Шарль Бодлер: поэт в эпоху зрелого капитализма» (1937–1939). Операцию литературной репрезентации Бенъямин выводит из политико-экономических условий большого города – Парижа эпохи Османа и революций XIX века – и порожденных ими форм текстуального самонаблюдения. Важное место в этом анализе принадлежит жанру физиологического очерка и фигуре фланера, в которой модус городского потребления смыкается с коммерческими формами литературного производства: литератор «отправляется на рынок, как фланер, намереваясь поглазеть на его толчею, а на деле – чтобы найти покупателя»<sup>67</sup>. Эти выводы имеют самое непосредственное отношение к русской литературе XIX века: физиологический очерк был перенесен на русскую почву и дал усилиями поэта-предпринимателя Некрасова «Физиологию Петербурга». Сравнительная литературная фантазматика модерности (или «модернитета») и ее городов XIX века, – в значительной степени описанная еще исследователями «петербургского текста», – фигурирует среди тем недавней коллективной монографии под редакцией С. Л. Фокина и А. Ураковой «По, Бодлер, Достоевский. Блеск и нищета национального гения» (2017). Как напоминает помещенная там статья О. Волчек «Топология города и повествовательные маски у По, Бодлера, Достоевского», Достоевский затевал в 1845 году нравоописательный альманах «Зубоскал», чей герой-повествователь – «может быть, единственный фланер, уродившийся на петербургской почве»<sup>68</sup>. Вышедший в 1846 году в другом некрасовском издании первый роман Достоевского «Бедные люди» уже своим заглавием подтверждает тезис Бенъямина о связи новой городской литературы с имущественным расслоением: «Первые исследователи пауперизма не могли оторвать от него глаз, в которых звучал немой вопрос: где границы человеческой нищеты?»<sup>69</sup>

Реалистическая литература и критика берут на себя не только фиксацию внеположных им процессов, но и теоретическое и проективное осмысление эволюционирующего общественно-экономического уклада и соответствующих ему модусов субъектности и личного поведения. В книге Гуидо Карпи «Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы» (2012) классическое марксистское представление «об исторической реальности как о единственном объекте искусства» сочетается с констатацией нелинейности и противоречивости исторической действительности. «Художник не „воспроизводит“ и не „отражает“ историческую действительность (она динамична, противоречива и не поддается „воспроизведению“), но отбирает определенные ее явления и тенденции, чтобы переорганизовать их во вторичную структуру»<sup>70</sup>. Сложный инструментарий такого отбора, превращающего экономические факты в дискурсивно-эстетические, подробнее прослежен в монографии Джиллиан Портер «Экономика чувств: Русская литература в эпоху царствования Николая I» («Economies of Feeling: Russian Literature under Nicholas I», 2017). В сочинениях николаевской эпохи – от Пушкина и Гоголя до раннего Достоевского – Портер прослеживает связь денежных отношений с различными аффективными модусами и социальными ролями: так, афера Чичикова и рассказ о ней связаны с поэтикой гостеприимства, а в «Двойнике» Достоевского нетвердый денежный курс соотносится с неустойчивостью современного языка и субъектности, вызывающей к эстетике фантастического. Экономическая деятельность требует специфических типов субъектности; в их числе, как показывает Портер, важнейшее место занимают честолобец и скупец.

Очерченные подходы и вопросы переплетаются в нескольких работах настоящего сборника. В статье К. Ключкина эстетические понятия о реализме в критике 1840–1870-х годов рассматриваются как элемент коммерческой прессы и стоящих за ней закономерностей капиталистической экономики. Соотнесение коммерческой экономики, общественного уклада

<sup>67</sup> Бенъямин В. Бодлер / Пер. С. Ромашко. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 23.

<sup>68</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 7.

<sup>69</sup> Бенъямин В. Бодлер. С. 12.

<sup>70</sup> Карпи Г. Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы. М.: Фаланстер, 2012. С. 11–12.

и художественной формы развивается и в статьях, посвященных экономическим отношениям у Достоевского. К. Осповат рассматривает изображение нищеты в «Бедных людях» в связи с экономическим пониманием *симпатии*, восходящим к социологической доктрине Адама Смита и связанным с сентиментальной поэтикой. Констатируя переплетение различных художественных стилей в «Неточке Незвановой», Белла Григорян находит в этом неоконченном романе анализ культурного производства и потребления «среднего круга», а также модель нового социального субъекта, обретающего себя в медиальном пространстве коммерческой прессы. В обеих этих работах судьбы героев вписаны в экономическую топографию Петербурга, складывающуюся в столкновении богатства и бедности. Вадим Шнейдер связывает повествовательное устройство «Идиота» со сломом экономических формаций и соответствующих им культурных типов: на смену старому купечеству «скупцов» приходят новые капиталисты, чьи деловые обороты оказываются неподвластны романному повествованию. Наконец, Джиллиан Портер продолжает исследование экономической и повествовательной семантики кредитных билетов у Достоевского – на этот раз в «Братьях Карамазовых» – и видит в ней ключ к внутренней форме его последнего романа.

### *Реализм и научная эпистемология XIX века*

Хорошо известно, что реализм выстраивал собственный метод и подопытную реальность, опираясь на представления социальных, физических, математических, психологических, физиологических и биологических наук 1830–1870-х годов<sup>71</sup>. Сами участники литературной жизни прекрасно это осознавали, а наиболее проницательные из них пытались концептуализировать. Так, Э. М. де Вогюэ в предисловии к быстро прославившейся книге «Русский роман» (1886), как будто предвосхищая построения Бруно Латура, проводил впечатляющую по тем временам тройную параллель между открытием микробов усилиями Пастера, работой современного психолога и писателя:

Гуманитарные науки подчиняются импульсу, заданному науками естественными. История внимает показаниям народов, оттеснив на второй план единственных свидетелей, которых выслушивала прежде: королей, министров, военачальников <...> Для освещения хода событий она [история] более не довольствуется несколькими главными фигурами; дух целых рас, тайные страсти и терзания, вереницы мелких фактов – вот материал, с помощью которого она воссоздает прошлое. Тем же занят и психолог, изучающий тайны души; человеческая личность представляется ему производным длинной череды наслоившихся одно на другое ощущений и действий, чутким, переменчивым инструментом, находящимся под постоянным влиянием окружающей среды. <...> Литература, эта исповедь общества, не могла оставаться чуждой этим всеобщим переменам; сначала инстинктивно, потом осознанно она стала приводить свои методы и идеалы в соответствие с новыми веяниями<sup>72</sup>.

Психологический анализ мельчайших движений души у Толстого и Достоевского тем самым оказывается смежен и, отчасти, генетически связан со становлением новой научной картины мира. Только в XX веке стало ясно, что это движение и влияние было далеко не одно-

<sup>71</sup> Традиционный ракурс рассмотрения проблемы, заданный в России давней статьей М. П. Алексеева «Пушкин и наука его времени», остается за рамками этого краткого обзора (Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени (Разыскания и этюды) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 9–125).

<sup>72</sup> Вогюэ Э. М. де. Предисловие к книге «Русский роман» / Пер. С. Ю. Васильевой под ред. П. Р. Заборова // К истории идей на Западе: «Русская идея» / Под ред. В. Е. Багно и М. Э. Маликовой. СПб.: Петрополис, 2010. С. 510–511.

сторонним. Работы Дж. Бир<sup>73</sup> и Дж. Ливайна 1980-х годов о научном языке и воображении Дарвина показали, что научная мысль середины XIX века полагалась на повествовательные структуры и метафорический аппарат для доказательства выдвигаемых гипотез. Иным способом, не прибегая к сюжетному повествованию и емким метафорам, объяснить и обосновать ту или иную теорию оказывалось невозможно: в распоряжении ученых еще не было совокупности геологических, археологических, лингвистических и прочих фактов, накопленных исследователями лишь к началу XX века, когда подтвердились многие прежние теории. Писатели, в свою очередь, получали в распоряжение новые представления о невидимых глазу связях между объектами реальности, причинах эволюции человеческого рода или законах психики, которые навсегда изменили способы повествования, усложнив и обогатив репрезентацию отношений между индивидами, мотивировки повествовательных событий, варианты сочетания сюжетных линий и т. д.

В такой же перспективе современная наука рассматривает и, например, панъевропейский натурализм 1870–1890-х годов, который не просто возвел биологический детерминизм и теорию наследственности в ранг новой религии, но и разработал базовый сюжет о дегенерации рода, ставший едва ли не ключевым моментом в теориях вырождения у многих врачей, социологов и психиатров-неврологов конца XIX столетия<sup>74</sup>. Иными словами, научная и художественная сферы в эпоху реализма середины XIX века не столько соседствуют, сколько образуют общую «фигурацию», в рамках которой научные представления обретают литературную форму и становятся повествовательными конструкциями. Начиная с середины 1980-х и особенно в 1990-е годы вышло множество работ о том, какими именно повествовательными и сюжетными средствами писатели середины XIX века воплощали вдохновлявшие или раздражавшие их представления, восходившие к Конту, Фогту, Дарвину, Спенсеру, Вундту, Льюису, Лобачевскому и др.

Из большого массива подобных работ выделяются книги Дж. Ливайна, много сделавшего для развития этого направления в изучении прозы XIX века, в первую очередь англоязычной. Двигаясь вслед за Бир, Ливайн пришел к еще более неожиданным выводам о неявных влияниях научных теорий на романную форму у Остин, Диккенса, Тrollope и др. Оказалось, что, безотносительно знакомства писательницы с сочинениями Дарвина или других эволюционистов, она могла совпасть с ними в приверженности к двум наиболее популярным в британской геологии и биологии того времени теориям – униформизму или градуализму<sup>75</sup> – в силу включенности в общую дискурсивную культурную среду. Как показывает Ливайн, характерная для Викторианской эпохи «интеллектуальная конвергенция» геологического, биологического, политического и литературного градуализма образовывала фундамент художественного реализма той эпохи и определяла развитие сюжета и взаимодействие между социальными группами в романном социальном воображаемом<sup>76</sup>. В этом смысле реализм больше, чем какой-либо из предшествующих «больших стилей», обращался к естественным наукам в поисках наиболее адекватного способа воссоздания реальности<sup>77</sup>.

В последнее десятилетие наметился еще один неожиданный ракурс в изучении эпистемологии реализма, в первую очередь викторианского. Как показал Николас Деймс, домини-

<sup>73</sup> Beer G. *Darwin's Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

<sup>74</sup> Особенности русского натурализма на европейском фоне и его нарративность и эпистемологию в таком ракурсе недавно рассмотрел Р. Николози: *Николози Р. Вырождение. Литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века*. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

<sup>75</sup> Униформисты в то время ошибочно считали, что геологические факторы постоянны и неизменны; градуалисты полагали развитие жизни на земле непрерывным и постепенным.

<sup>76</sup> Levine G. *Darwin and the Novelists. Patterns of Science in Victorian Fiction*. Boston, MA: Harvard University Press, 1988. P. 5.

<sup>77</sup> Ibid. P. 12. В нашем сборнике статья В. Школьниковой показывает, как поздний Белинский моделировал границы и функции литературы по образцу естественных наук.

ровавшая в Великобритании середины XIX века (в работах Дж. Г. Льюиса, Энзаса Далласа, Александра Бэна и др.) физиологическая психология выработала собственную физиологическую теорию психологического «я» (self), отдающую приоритет неосознанным и произвольным телесным импульсам ('non-conscious'), но не подсознанию, каким мы его знаем после работ Фрейда. Деймс утверждает, что «тон и длина викторианских повествований многим обязаны этому новому эпистемологическому разделению между всезнающим нарратором и персонажами, постоянно – и вероятно даже онтологически – не осознающими оснований мотивов своих поступков. Несобственно-прямая речь, которая была в ходу уже у Дж. Остин, процветала у таких авторов, как Флобер и Джойс, и стала поэтому краеугольным камнем теории романа, в викторианской прозе оказывается далеко не таким распространенным приемом»<sup>78</sup>.

Иными словами, перед исследователями реализма открывается не только зона нарративов, но и особый полуакадемический, полунаучный, полукритический дискурс второй половины XIX века, особая «физиологическая теория романа», которая задавала общественные модусы восприятия и порождения романов. (Естественно, встает вопрос, могла ли существовать подобная «теория» и практика в России конца XIX – начала XX века, когда экспериментальная психология появилась на сцене и стремительно институционализировалась<sup>79</sup>.)

Первые значительные работы о русском реализме и естественных науках в очерченном методологическом русле появились в немецкой русистике в 1990–2000-е годы. Первоначально они сосредоточивались в основном на медицинских представлениях, хотя привлекали к рассмотрению и более широкий материал психологии, физиологии, философии и естествознания XIX века. Так, например, Сабина Мертен в книге «Возникновение реализма из поэтики медицины: русская литература 1840–1860-х гг.»<sup>80</sup> исследует под таким углом зрения тексты Достоевского, Гончарова, Герцена и Чернышевского, а подготовленный немецкими славистами из Университета Констанца сборник статей «Русская литература и медицина» (М.: Новое издательство, 2006) задает еще более широкие рамки – от литературы эпохи Просвещения до современности.

В американской славистике это исследовательское направление представлено монографией Валерии Соболев – очерком культурной истории знаменитой «любвонной горячки», считавшейся в науке опасной и смертельной болезнью и потому обладавшей огромным сюжетным потенциалом<sup>81</sup>. В книге показано, как медицинская трактовка этой болезни определяет сюжеты канонических русских текстов от Карамзина до Льва Толстого. В нашем сборнике В. Соболев рассматривает смежный сюжет о возникновении из духа романтизма новой, физиологической теории любви в научном и художественном мышлении 1860–1870-х годов, демонстрируя тем самым «конвергенцию между литературными и научными моделями». К теории рефлексов Сеченова – едва ли не ключевой русской научной модели 1860-х годов – обращается в своей статье и Алексей Вдовин. Он показывает, как Достоевский в «Записках из подполья» полемизирует с идеологией Сеченова, одновременно усваивая из его трактата технику дискретного описания последовательных фаз психического возбуждения и торможения. В результате рождается фирменный, уже гораздо более позитивистский, психологизм автора «Преступления и наказания», упрочивший его роль в экспансии «реализма в высшем смысле».

<sup>78</sup> Dames N. 1825–1880. The Network of Nerves // The Emergence of Mind: Representation of Consciousness in Narrative Discourse in English / Ed. by D. Herman. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2011. P. 227. О сложном взаимодействии физиологического и художественного дискурсов в Великобритании см. его же книгу: *Dames N. The Physiology of the Novel: Reading, Neural Science and the Form of Victorian Fiction*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

<sup>79</sup> См.: Kichigina G. The Imperial Laboratory: Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia. Amsterdam; New York: Rodopi, 2009; Byford A. Psychology at High School in Late Imperial Russia (1881–1917) // *History of Education Quarterly*. 2008. Vol. 48. P. 265–297.

<sup>80</sup> Merten S. Die Entstehung des Realismus aus der Poetik der Medizin. Die Russische Literatur der 40er bis 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2003.

<sup>81</sup> Sobol V. Febris Erotica. Lovesickness in the Russian Literary Imagination. Seattle: University of Washington Press, 2009.

Статья Мелиссы Фрейзер, открывающая раздел о связи реализма и науки, предлагает глобальный сравнительный взгляд на различные изводы науки в середине XIX века. В качестве русских аналогов антипозитивистской научности Дж. Г. Льюиса, разрабатывавшего неевклидову геометрию, Фрейзер рассматривает Достоевского и Толстого. Они не только живо интересовались высшей математикой, заставляли героев и повествователей обсуждать ее и прибегать к ее ресурсам (интегралы в «Войне и мире»), но и, в пику оголтелым материалистам и монистам, оспаривали художественными средствами главенство данной нам в ощущениях объективной реальности. Симптоматично, что статья оканчивается ссылкой на исследование Б. Латура «Надежда Пандоры», постулирующее необходимость радикального пересмотра сформированной в том числе и реализмом XIX века научной картины мира; это в очередной раз свидетельствует о концептуальном потенциале реконструкции научно-идеологического ландшафта той эпохи.

### *Мимесис и саморефлексия в русском реализме*

В книге Эриха Ауэрбаха «Мимесис», которая, несмотря на ее почтенный возраст, по-прежнему остается одной из главных точек отсчета для теории мимесиса, русскому реализму отводится особое место. Рассуждая о способах создания миметической иллюзии в литературном тексте, Ауэрбах говорит о русском изводе реализма, в первую очередь, с точки зрения его влияния «на развитие в европейской литературе способности видеть и изображать действительность»<sup>82</sup>. Главное, что, по мнению ученого, отличает русский реализм от западноевропейского, – это «динамизм» и «глубина чувств», характерные «для текстов раннего „христианского реализма“», а также «непосредственность выражения», в котором «смешение реализма и трагического восприятия жизни достигло своего совершенства»<sup>83</sup>. «Могучие волны» русского реализма разгоняют, как пишет Ауэрбах, во-первых, интерес русских писателей к личности вне сословной принадлежности (Ауэрбах связывает это с неразвитостью капиталистической экономики в России в период формирования реализма), во-вторых, «единый характер населения и форм жизни на всем пространстве этой большой страны» (провинциальная Россия за пределами Москвы и Санкт-Петербурга изображается как единое пространство), и в-третьих – бурная реакция на события мировой и, в частности, европейской культуры, которые «всей тяжестью обрушивались на русское общество»<sup>84</sup>.

Язык Ауэрбаха, в целом склонного к гиперболе и в других главах, на страницах, посвященных русскому реализму, полон таких эпитетов, как «могучий», «мощный», «глубокий», – призванных, по-видимому, передать эмоциональное воздействие, которое тексты русского реализма оказывали на европейского читателя. Русский реализм, по Ауэрбаху, оказывается как бы заточен в рамках европейской культуры: значимость русского реализма определяется уровнем его влияния на европейскую литературу, однако его особые свойства, усиливающие это влияние, возникают как реакция русской культуры на «европейские, а особенно немецкие и французские духовные и жизненные явления, проникавшие в русскую жизнь»<sup>85</sup>. Такое специфическое прочтение русского реализма объясняется общим контекстом работы Ауэрбаха, как историческим, так и научным<sup>86</sup>, и мало сообщает собственно о природе текстов, которые ока-

<sup>82</sup> Ауэрбах Э. Мимесис. С. 511.

<sup>83</sup> Там же. С. 512–514.

<sup>84</sup> Там же. С. 512.

<sup>85</sup> Там же. С. 514.

<sup>86</sup> Кроме методологических переключек с современной Ауэрбаху европейской историей романа, его описание русского реализма очевидно наследует цитированной выше книге Эжена Мельхиора де Вогюэ «Русский роман», в которой, помимо прочего, утверждается особый «гуманистический» характер русского реализма по сравнению с западноевропейским, в особенности французским: *De Vogüé E. M. Le roman russe*. Paris: Librairie Plon, 1886; в рус. пер. – Современные русские писа-

зались в центре его внимания. Тем не менее замечания Ауэрбаха надолго обозначили общий вектор подходов к российским текстам второй половины девятнадцатого века в европейском и англо-американском сравнительном литературоведении<sup>87</sup>.

Внимание к социальным принципам общности и отрицание сословного деления российского общества, а также утверждения о превосходстве текстов Толстого и Достоевского над романами их современников-европейцев позволили с относительной легкостью «конвертировать» подход Ауэрбаха для применения в советском литературоведении. Предисловие к изданию русского перевода «Мимесиса» 1976 года было написано Г. М. Фридлендером, реабилитировавшим труд зарубежного ученого. Сразу же указав на нетипичность его подхода среди теоретиков «буржуазной филологической науки XX в.» и на задокументированное сочувствие Ауэрбаха идеям К. Маркса, Фридлендер подчеркнул и антифашистский пафос исследования, написанного в 1940-е годы в Стамбуле<sup>88</sup>. Фридлендер (в целом, как свидетельствует его «Поэтика русского реализма», он считал методы Ауэрбаха применимыми в советском литературоведении) ритуально видит слабое звено теоретических построений Ауэрбаха в отсутствии внимания к «классовой борьбе» и «внеисторичности». Однако он также отмечает, что автор «Мимесиса» идеализирует эстетику христианского искусства, и указывает на «традиционный для буржуазной науки „евроцентризм“», из-за которого литературы Востока практически не учитываются в теоретических построениях Ауэрбаха.

Эта небольшая заметка Фридлендера наглядно демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются современные исследования русского реализма, вдохновившие, в частности, составителей этого сборника. С одной стороны, очевидно, что упреки в недооценке роли классовой борьбы – навязчивое клише советских рецензий на зарубежные работы. С другой стороны, универсализация христианской эстетики и евроцентризм – это характерные черты гуманитарной мысли XX века, преодоление (или хотя бы, на начальном этапе, выявление) которых является одним из главных методологических принципов современной гуманитарной науки. Из-за идеологического багажа понятия «реализм» в советской науке соблазн, как говорит немецкая пословица, выплеснуть ребенка вместе с купальной водой часто оказывается слишком велик – и целый пласт методологических подходов, скомпрометированных историей их употребления, оказывается исключенным из научной практики.

Очевидно, что любой исследователь ограничен в своей работе горизонтами собственных компетенций (например, Ауэрбах объясняет краткость своих замечаний о русском реализме незнанием русского языка) и набором собственных идеологических лояльностей, личных и профессиональных. Именно поэтому междисциплинарный и транснациональный фокус статей, представленных в сборнике в целом и в частности в разделе, посвященном мимесису, мета- и интертекстуальности, кажется нам особенно важным. (Тем более что лучшие из классических русскоязычных работ о реализме и мимесисе как способе отражения действительности в литературе также балансировали на грани нескольких методологических подходов: истории литературы, культуры и языка у М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана, философии, лингвистики и психологии в работах Л. Я. Гинзбург и т. п.)

Установка на междисциплинарность позволяет авторам обращаться к наработкам современной философии, историографии, теории коммуникации и археологии медиа, истории мате-

тели. Толстой – Тургенев – Достоевский. М.: изд. В. Н. Маракуев, 1887. О необходимости введения текста Воюэ в современный научный оборот в России см.: *Фокин С. Л.* Геополитика против филологии: Франко-русская биография виконта Э.-М. де Воюэ // Новое литературное обозрение. 2019. № 2 (156). С. 326–330. См. также: *Фокин С. Л.* Фигуры Достоевского во французской литературе XX века. СПб.: Изд-во РХГА, 2013. С. 23–69.

<sup>87</sup> Влияние Ауэрбаха очевидно, например, в еще одном каноническом исследовании о реализме – Рене Уэллека. См.: *Wellek R.* The Concept of Realism in Literary Scholarship // *Concepts of Criticism* / Ed. by S. G. Nichols, Jr. New Haven: Yale University Press, 1973. P. 242.

<sup>88</sup> О генезисе идей Ауэрбаха в контексте истории развития сравнительного литературоведения как дисциплины см.: *Chow R.* Discipline of Tolerance // *Companion to Comparative Literature*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. P. 15–28.

риальной культуры в поисках новых решений для старых литературоведческих проблем. К числу таких подходов, новаторских, с одной стороны, и укорененных в смежной природе разных отраслей гуманитарного знания – с другой, принадлежит и характерный для последних десятилетий научный интерес к углубленному изучению точек соприкосновения между реализмом и современной теорией мимесиса как процесса отражения реальности в искусстве в целом.

Как пишет американский теоретик мимесиса Мэтью Потольски, «реализм продолжает оставаться главным способом интерпретации мимесиса в современной культуре»<sup>89</sup>. Такая релевантность реализма для понимания взаимодействия искусства с материальным миром важна в контексте исследований не только мировой литературы в целом, но и русской литературы XIX века частности. Первый же пример описания процесса мимесиса в литературе классического периода, который приводит Потольски (состязание двух художников, описанное в «Естественной истории» Плиния Старшего, 77 г. н. э.), обозначает исходную задачу мимесиса как уничтожение границ между искусством и реальностью: состязание выигрывает тот художник, чья картина оказывается наиболее правдоподобной. Эта античная дискуссия вызывает в памяти такие, на первый взгляд, далекие феномены, как знаменитый рассказ Э. А. По «Овальный портрет» (1842) (в котором жена художника и одновременно его модель умирает от истощения ровно в тот момент, когда ее изображение на холсте мужа достигает полного сходства и даже превосходит его совершенством) и постулаты магистерской диссертации Чернышевского (1855) и трактата П. Ж. Прудона «Искусство, его основания и общественное назначение» (1865). Эти ключевые для российской и французской полемики о природе литературного реализма тексты определили как вектор журнальных дебатов середины XIX века о принципах реалистического искусства (к которым апеллируют сразу несколько статей сборника, в первую очередь статья К. Ключкина), так и – часто от противного – природу более поздних текстов русского реализма, таких как романы Тургенева, Толстого и Достоевского.

Главное, о чем напоминает современная теория мимесиса, – это то, что степень реалистичности текста считается в первую очередь читателем, иногда вне зависимости от авторской установки на правдоподобие. Такая система взаимоотношений, ключевая для функционирования мимесиса в целом, особенно актуальна в контексте современной переоценки списка канонических текстов русского реализма с точки зрения их соответствия «фантомной» литературной традиции. Как взаимное напряжение между намерением и восприятием, интенцией и рецепцией, эта характеристика мимесиса освещается в теоретических работах и Романа Якобсона, и Раймонда Уильямса. Базовые категории и определения мимесиса, предложенные в работах Платона (мимесис как точное воспроизведение материальной действительности, или теория отражения) и Аристотеля (мимесис как верное действительности структурирование сюжета по принципам вероятности и необходимости, или теория правдоподобия), переосмысленные с точки зрения транснационального подхода (например, подчеркивающего ограниченность функционирования этих понятий вне западной культуры), остаются важными инструментами и для анализа текстов русского реализма.

Еще один ключевой элемент античной дискуссии о мимесисе, который важен и сегодня, – это эмоциональная реакция (страх, нервозность, психологический дискомфорт), вызываемая пониманием того факта, что чрезвычайно удачный мимесис повторяет реальность настолько хорошо, что имитацию невозможно отличить от исходного объекта. Очевидно, что в эпоху появления нейросетей, создающих копии текстов, фото- и видеоизображений, не отличимые от первоисточника, такая эмоциональная реакция на реализм как апогей «правдоподобия» кажется вполне понятной. Потольски и другие теоретики мимесиса уделяют большое внимание негативному восприятию реализма современниками во второй половине XIX века по

<sup>89</sup> Potolsky M. *Mimesis*. New York; London: Routledge, 2006. P. 111.

всей Европе. Викторианский антиреализм эстетических манифестов Оскара Уайльда, противопоставлявшего эстетику красоты натуралистичным описаниям реализма, и французский извод той же критики (замечания Бодлера об ограниченности фотографии как способа отражения действительности<sup>90</sup>, первые манифесты декадентов), а также их русские аналоги (статьи Н. Минского и Д. С. Мережковского) – богатый материал для сопоставлений с подобными практиками на российском материале. Так, важные связи между мыслями Белинского о новом искусстве фотографии и понятием «реалистичного» у передвижников устанавливает в книге о «реализмах» Молли Брансон<sup>91</sup>.

Использование теории мимесиса и сравнительного подхода уместно и в исследованиях дидактического модуса, гораздо более влиятельного в русском реализме, как показывает Сара Рут Лоренц, чем в его европейских изводах. В исследовании «Визионерский мимесис: имитация и трансформация в немецком просвещении и русском реализме» (2012)<sup>92</sup> Лоренц рассматривает российскую литературную критику 1860-х годов в контексте немецкой философии идеализма. Лоренц описывает парадокс русской «реальной» критики, отвечая на вопрос: как, с философской точки зрения, критики-реалисты разрешали логическое противоречие между требованиями к искусству верно отражать действительность и при этом менять ее в лучшую сторону? Инструментарий современной теории мимесиса позволяет, таким образом, рассматривать метаэлементы в поэтике литературных текстов 1860-х годов как попытку осмыслить в пространстве литературного текста эту противоречивую установку.

Еще одно исследование, чрезвычайно плодотворно работающее с современной теорией мимесиса на российском материале, – работы Хлое Китцингер, в которых рассматриваются системы персонажей в романах Толстого и Достоевского как инструмент создания миметической иллюзии<sup>93</sup>. Китцингер описывает авторские отступления в «Войне и мире» как размышления о типе литературного мимесиса, идентичного созданию правдоподобных персонажей, используя новые подходы к теории литературных типов (сформулированные, например, в книге Джона Фроу «Характер и личность», 2014)<sup>94</sup>. Китцингер подчеркивает связь между местом, которое Ауэрбах определил русскому роману в истории мимесиса (тексты «трагического» реализма<sup>95</sup>, обращающиеся к эстетике раннего христианства), функционированием системы персонажей в романах Толстого и Достоевского, а также проблемами этики романной формы<sup>96</sup>.

Исследование Михаила Ямпольского «Ткач и визионер»<sup>97</sup>, посвященное проблемам репрезентации в мировом искусстве в целом, также обращается к российскому материалу

<sup>90</sup> Анализ взаимовлияний и отталкиваний реализма и фотографии в середине XIX века см.: *Armstrong N. Fiction in the Age of Photography: The Legacy of British Realism*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999.

<sup>91</sup> *Brunson M. Russian Realisms: Literature and Painting, 1840–1890*. Dekalb: Northern Illinois University Press, 2016. P. 177–179. О дифференциации конфликтующих проектов «реализма» в русской живописи 1860–1880-х годов см. также: *Чернышева М. Новый взгляд на феномен реализма: о фотографическом проекте художника Верещагина и генерала Кауфмана* // *Ab Imperio*. 2005. № 4. С. 379–413. О возможностях и границах понятия «реализм» в истории русской музыки см.: *Петров Д. Р. Русская музыка и эстетика реализма* // *Русская музыка. Рубежи истории: Материалы междунар. науч. конф.* / Отв. ред. Е. Г. Сорокина. М., 2005. Науч. труды Моск. гос. консерватории. Сб. 51. С. 28–40.

<sup>92</sup> *Lorenz S. R. Visionary Mimesis: Imitation and Transformation in the German Enlightenment and Russian Realism*. Unpublished doctoral thesis, University of California, Berkley, 2012.

<sup>93</sup> *Kitzinger Ch. Illusion and Instrument: Problems of Mimetic Characterization in Dostoevsky and Tolstoy*. Unpublished doctoral thesis, University of California, Berkley, 2016.

<sup>94</sup> *Frow J. Character and Person*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

<sup>95</sup> О категории трагического в реализме Белинского, Гончарова и Герцена, см.: *Kliger I. Genre and Actuality in Belinskii, Herzen, and Goncharov: Toward a Genealogy of the Tragic Pattern in Russian Realism* // *Slavic Review*. 2011. Vol. 70. № 1 (Spring). P. 45–66.

<sup>96</sup> Основные постулаты теории этики романной формы как подхода к описанию теории и истории жанра см.: *Nussbaum M. C. Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature*. Oxford: Oxford University Press, 1992; *Hale D. J. Aesthetics and the New Ethics: Theorizing the Novel in the Twenty-First Century* // *PMLA*. 2009. Vol. 124. № 3. P. 896–905.

<sup>97</sup> *Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или о материальном и идеальном в культуре*. М.: Новое

в разделах о романтизме и реализме. Ямпольский описывает эволюцию способов репрезентации реальности в текстах Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского<sup>98</sup> и др. и удачно вписывает теоретические выкладки российских писателей в мировую историю мимесиса как литературной практики. Теория мимесиса становится для исследователя неким общим знаменателем, к которому сводятся разные, но часто ключевые для реалистических текстов нарративные приемы: экфрасис, невербальная коммуникация (жесты), кенозис и др.

В недавней книге Ф. Джеймисона «Антиномии реализма» проблема миметического отображения реальности рассматривается в связи с «аффективным поворотом» в гуманитарных науках последних двадцати лет<sup>99</sup>. Джеймисон видит в реализме не просто правдоподобное изображение человеческой психики, но репрезентацию телесных и душевных аффектов. Разработанная взамен устаревшей классификации эмоций, поэтика аффекта потребовала новой темпоральности, наиболее подходящей формой для которой оказался роман. В первой главе автор настаивает, что жанр новеллы в силу сосредоточенности на рассказывании истории героя (telling) ни исторически, ни структурно не был приспособлен для рассказа о мельчайших душевных и телесных движениях героев. Ключевой оппозицией для Джеймисона выступает не *recit vs. roman*, не *telling vs. showing*, но судьба (destiny) vs. вечное настоящее (eternal present), в рамках которой и разворачивается репрезентация «волн телесных ощущений», требующих особой темпоральности. Исторически тексты реализма возникают из напряжения между двумя этими полюсами. Для авторов 1830–1840-х годов новой задачей было уловить аффекты, не поддававшиеся языку эмоций – уже хорошо разработанному, но еще не обладавшему необходимыми категориями для дискурсивного обозначения того, что Спиноза именовал аффектом (страстью).

Джеймисон приводит эффектный пример – пассаж из «Отца Горио», где Бальзак удрочен бедностью языка, не имеющего средств для передачи мельчайших состояний и запахов. К сожалению, Джеймисон не вдается в историю осмысления аффектов, хотя это позволило бы соотнести литературную репрезентацию с историей физиологии и научной теории аффекта, разработанной в 1880-е годы независимо друг от друга Карлом Ланге и Уильямом Джеймсом. Согласно Джеймисону, аффект в романе семантически и формально соотнесен с эффектами и идеями протяженности, интенсивности, сингулярности, «хроматизма тела». Такой ракурс позволяет Джеймисону включить в поле реализма и Бальзака, и, вопреки Лукачу, Золя (а расширительно – и «экзистенциальный роман» XX века), а также нетривиально (и местами рискованно) говорить о музыкальной технике Вагнера и живописи импрессионистов как об аффективных, а значит – реалистических по своей природе.

Особо стоит упомянуть предложенную Джеймисоном интерпретацию аффективных состояний в прозе Толстого. Цель Джеймисона – расслоить личность и сознание у Толстого. Его моралистическая система, являясь по сути идеологией, определяет и способ репрезентации («морализирующая система психологического»). Пристально читая эпизод приезда князя Андрея в австрийскую ставку, когда его настигает осознание неадекватности понятия «сча-

---

литературное обозрение, 2007. Теория мимесиса также служит главной методологической рамкой в теоретической истории русской драмы М. П. Одесского, в которой рассматривается роль использования категорий «мимесис со-участия» и «мимесис со-зерцания» в поэтике драматического текста (*Одесский М. П. «Мимесис со-зерцания» и «мимесис со-участия» в истории русской драмы XVII–XXI вв. М.: СПб.: Нестор-История, 2018*).

<sup>98</sup> На том же литературном материале (тексты Гоголя и Достоевского) основано еще одно недавнее исследование мимесиса – работа философа В. А. Подороги «Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы». Подорога позиционирует свое исследование как стоящее вне дисциплинарных рамок литературоведения и, в частности, уже сложившихся феноменологических и нарратологических подходов к теории мимесиса. В результате многие выводы ученого дублируют уже существующую теоретическую номенклатуру (в частности, деление типов мимесиса на 1, 2 и 3 следует терминологии П. Рикера, хорошо известной в России к моменту публикации книги), а также органицистскую теорию замкнутого литературного произведения (Гердер, Шеллинг, Ап. Григорьев) и классическую теорию интертекста (*Подорога В. А. Мимесис: Материалы по аналитической антропологии литературы. М.: Логос, 2016*).

<sup>99</sup> *Jameson F. The Antinomies of Realism. New York; London: Verso, 2013.*

стве», Джеймисон показывает, что едва ли не основной прием Толстого – деперсонализация и тирания точки зрения. По мнению исследователя, мы можем прочитывать знаменитые моменты интроспекции и озарения героев Толстого как аффекты, обладающие процессуальностью и интенсивностью переживания. Более того, описание внутренней жизни персонажей, в чье сознание допускает нас повествователь, сходно и заключается в репрезентации сменяемости аффектов, регулирующей сюжетное движение в романах Толстого. Утверждая, что персонажи у Толстого не органичны, но мозаичны, Джеймисон лишний раз, не ссылаясь на предшественников, подтверждает старое мнение о том, что традиционных цельных и последовательных в своих поступках характеров у Толстого не существует, их природа иная.

Внимание к парадоксу мимесиса – неизбежному искажению изначальной действительности в процессе ее изображения – органично приводит к рассмотрению моментов рефлексии этого процесса, интегрированного в сами литературные тексты. Саморефлексия – термин, устоявшийся в англоязычной и других зарубежных традициях (нем. *Selbstreflexion*, итал. *riflessione*, фр. *autoréflexion* и пр.). С середины 1990-х годов он постоянно используется и в российском литературоведении, однако его приложение к текстам русского реализма остается весьма ограниченным. Одна из причин этого – исторически сложившееся в русской науке использование разных терминов для определения одних и тех же приемов повествования в литературах XX и XIX века. За методологией, необходимой для выявления и описания процесса нарративной саморефлексии в тексте, стоит теория метапрозы, которая была осмыслена российским литературоведением и зарубежным литературоведением, работающим с русскоязычными текстами, только в 1990-е годы. До 1990-х комплекс нарративных техник подобного рода обсуждался по-русски либо в рамках исследований «игровой поэтики» и роли автора в тексте, либо в структуралистских терминах вторичного моделирования реальности Ю. М. Лотмана и Д. М. Сегала<sup>100</sup>. Такая дисперсность терминологии теории метапрозы в русском языке, органичность ее использования для анализа модернистских и постмодернистских текстов, наряду с характерным для классической теории метапрозы пониманием мимесиса и саморефлексии как взаимоисключающих повествовательных техник<sup>101</sup>, фактически препятствовали широкому обращению к исследованиям метаэлементов в прозе русского реализма. Интересный пример терминологического «трансфера», в котором понятие «саморефлексия» с присущим ему комплексом научных коннотаций при переводе подменяется более привычным термином, отсылающим, однако, к принципиально иному методологическому аппарату – перевод на русский замечания У. М. Тодда в описании истории литературы XIX века о «самосознании» в русском романе<sup>102</sup> как «постоянном присутствии автора» в тексте<sup>103</sup>. В общем верный перевод тем не менее вписывает выводы Тодда в качественно другие теоретические рамки.

Сегодня понимание прозы русского реализма середины XIX века как чрезвычайно саморефлексивной дискурсивной практики, разделяющей общие черты так называемой метапрозы (теория которой разработана в основном на примерах английской, французской и американской литературы модернизма и раннего постмодернизма)<sup>104</sup>, распространяется все шире. Исто-

<sup>100</sup> Репрезентативный обзор генеалогии русскоязычных методологий работы с метапрозой представлен, например, в методологическом разделе работы: Хатямова М. А. *Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века*. М.: Языки славянской культуры, 2008.

<sup>101</sup> Роберт Альтер пишет об этом противоречии, фактически исключая наличие нарративной саморефлексии в европейском романе середины XIX в. См.: Alter R. *Partial Magic: The Novel as a Self-Conscious Genre*. Berkeley: University of California Press, 1975. P. X.

<sup>102</sup> «...much of their abrasiveness, that is, their self-consciousness and critical intentionality» (*Todd III W. M. Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology, Institutions, and Narrative*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986. P. 8).

<sup>103</sup> Todd B. M. *Литература и общество в эпоху Пушкина*. СПб.: Академический проект, 1996. С. 13.

<sup>104</sup> Ключевые работы по теории метапрозы включают: Waugh P. *Metafiction: The Theory And Practice of Self-Conscious Fiction*. London; New York: Routledge, 1984; Hutcheon L. *Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox*. Waterloo, Ont.: Wilfrid

рик литературы XVIII века Дэвид Гаспаретти считает саморефлексивность типичной чертой раннего русского романа, имитирующего европейские образцы и отражающего мысли авторов о том, как плохо русский материал укладывается в их формальные рамки<sup>105</sup>. Донна Орвин называет саморефлексивность «национальной чертой русской литературой традиции»<sup>106</sup>, а Майкл Финк рассматривает, наряду с поэзией Пушкина и пьесами Гоголя, метаэлементы в поэтике романа «Анна Каренина» Л. Толстого<sup>107</sup>. Наконец, Молли Брансон рассуждает о саморефлексивном потенциале русского реализма как о его очевидной черте, существование которой к 2016 году уже не требует доказательств<sup>108</sup>.

Российское литературоведение также имеет почтенную традицию освещения этой проблемы. Ю. М. Лотман в знаменитом комментарии к «Евгению Онегину» отмечает наличие в романе «некотор[ого] метатекста, трактующего вопросы поэтической техники»<sup>109</sup>. Теорию Лотмана затем развил Д. М. Сегал в статьях 1981 года «Литература как охранная грамота» и «Литература как вторичная моделирующая система»<sup>110</sup>. Однако исследование Сегала ознаменовало почти стопроцентный поворот в сторону изучения саморефлексивности русской прозы модернизма, оставив большей частью за бортом XIX век и вопрос русского литературного реализма. Современные российские исследования метапрозы и рефлексивности тоже рассматривают в основном тексты XX века<sup>111</sup>. Именно тот факт, что теория метапрозы развивалась преимущественно в контексте гуманитарной мысли XX века (в том числе и российской – Линда Хатчен говорит, например, об огромном влиянии теории коммуникации Якобсона и теорий пародии Тынянова<sup>112</sup>), определил и первоначальный диапазон ее применения.

Главная методологическая проблема, стоящая на пути исследований саморефлексивности прозы XIX века, – противопоставление мимесиса и саморефлексии как взаимоисключающих модусов литературного дискурса – была обозначена в ранних работах по теории метапрозы Патриции Во и Роберта Альтера. Однако этот методологический конфликт был успешно разрешен историками литературы на французском материале (что закономерно, учитывая центральное место, которое занимают романы Бальзака в исходных теоретических построениях) – в частности, в новаторском исследовании Анн Джефферсон «Читая реализм у Стендаля»<sup>113</sup>, в котором исследовательница утверждает возможность сосуществования миметического и саморефлексивного модусов повествования в европейском романе XIX века. Выкладки Джефферсон, хотя и опирающиеся преимущественно на французский материал, чрезвычайно полезны для выработки и развития новых подходов к изучению метаязыка русского литературного реализма.

Парадокс сосуществования мимесиса и реализма кажется неразрешимым: абсолютно верное воспроизведение действительности невозможно, так как сам процесс изображения

---

Laurier University Press, 1980; *Imhof R.* Contemporary Metafiction: A Poetological Study of Metafiction in English since 1939. Heidelberg: Winter, 1986; *Scholes R.* Fabulation And Metafiction. Urbana: University of Illinois Press, 1979; *Christensen I.* The Meaning of Metafiction: A Critical Study of Sterne, Nabokov, Barth and Beckett. Bergen: Universitetsforlaget, 1981; *Rose M. A.* Parody // Meta-Fiction: An Analysis of Parody as a Critical Mirror to the Writing and Reception of Fiction. London: Croom Helm, 1979.

<sup>105</sup> *Gasperetti D.* The Rise of the Russian Novel: Carnival, Stylization, and Mockery of the West. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1998. P. 4.

<sup>106</sup> *Orwin D. T.* Consequences of Consciousness: Turgenev, Dostoevsky, and Tolstoy. Stanford: Stanford University Press, 2007. P. 10.

<sup>107</sup> *Finke M. C.* Metapoesis: the Russian Tradition from Pushkin to Chekhov. Durham, NC: Duke University Press, 1995.

<sup>108</sup> *Brunson M.* Op. cit. P. 3, 7, 9, 17, 31, 33, 39, 113.

<sup>109</sup> *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.: Просвещение, 1983. С. 250–251.

<sup>110</sup> *Сегал Д. М.* Литература как охранная грамота. М.: Водолей, 2006. С. 11–50, 50–156.

<sup>111</sup> См., например: *Зусева-Озкан В. Б.* Поэтика метаромана: «Дар» В. Набокова и «Фальшивомонетки» А. Жида в контексте литературной традиции. М.: РГГУ, 2012.

<sup>112</sup> *Hutcheon L.* Thematising Narrative Artifice: Parody, Allegory, and the Mise En Abyme // Narcissistic Narrative. P. 48–58.

<sup>113</sup> *Jefferson A.* Reading Realism in Stendhal. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

(через характеристики используемого способа передачи, фокусировку изображающего и т. п.) в той или иной мере искажает предмет изображения. Однако внимательное прочтение писательских размышлений о теории и практике этого процесса заставляет заново взглянуть на особенности воплощения этого парадокса и намеченных путей его разрешения в текстах русского реализма.

Статьи раздела «Мимесис» в той или иной мере воплощают на практике теоретические подходы, кратко освещенные выше, выявляя мета- и интертекстуальные связи между различными ключевыми текстами русского реализма. В статье М. Кучерской и А. Лифшица рассматриваются тексты и театральные постановки, которые послужили так называемым «реквизитом» для повести Лескова «Тупейный художник». Типичная проблема сосуществования в реализме установки на подлинность повествования и одновременно художественного вымысла решается у Лескова, по мнению авторов, особым образом. «Тупейный художник» создавался как будто бы в диалоге с известными Лескову драматическими и прозаическими текстами, что позволяет рассматривать этот текст как пример удачной интеграции общей теоретической проблемы в конкретный текст. Лесков противопоставляет жуткую реальность, в которой живут его персонажи, создаваемой ими на сцене художественной иллюзии, что дает авторам статьи возможность описать его метод литературного мимесиса в контексте теоретических подходов к типам репрезентации, характерным для русского реализма.

В статье М. Вайсман проделана важная литературно-археологическая работа: на материале писем, программных статей и литературной критики реконструируется противоречивая теория реализма А. Ф. Писемского и ее воплощение в романе 1863 года «Взбаламученное море». Опираясь на теорию метапрозы, Вайсман анализирует ранее малоизученный фрагмент романа «Взбаламученное море» как пример авторской рефлексии о природе литературного реализма. Конкретная реализация этой рефлексии в романе рассматривается на примере металеписиса – нарративного приема, упраздняющего разницу между миром рассказа и миром, в котором этот рассказ создается.

Статья Б. Маслова об исторической поэтике реалистических сюжетов также использует конкретный пример – сюжет «курортного рецидива» или повторной встречи – как повод для построения теоретической модели сюжета, типичного для текстов русского реализма в целом. Опираясь на работы А. Н. Веселовского о генезисе сюжетных схем (по принципу их современности изучаемым сюжетам), Маслов описывает функционирование такой сюжетной схемы в произведениях Тургенева, Мопассана, Т. Манна, Чехова и Бунина. Тексты Тургенева интерпретируются автором статьи как связующее звено между романтизмом, поздним реализмом и модернизмом, выделить которое и позволяет предлагаемая автором классификация сюжетных мотивов.

### *Перспективы*

Представленный читателям сборник имеет своей целью, прежде всего, обозначить векторы развития новых подходов к изучению русского реализма и познакомить читателя с репрезентативной выборкой работ современных ученых в России и за рубежом. Закономерно, однако, что, так как сборник демонстрирует срез современной науки, объектом или предметом которой является русский литературный реализм, набор представленных в нем статей (с поправкой на реальность научной жизни – не все, чьи работы мы хотели бы видеть в сборнике, смогли представить свои тексты) демонстрирует не только последние достижения этой отрасли литературоведения, но и ее лакуны.

В частности, в сборнике лишь очень кратко освещены два важных подхода к литературе XIX века, направленных на введение новых текстов в научный оборот. За исключением Мельникова-Печерского и Писемского, в сборнике мало представлены писатели второго ряда

и другие неканонические авторы. В сборник также не вошли статьи о женщинах-писательницах и представителях других маргинализированных социальных и этнических групп, исследования текстов которых «медленно, но верно» продолжают дополнять нашу картину литературной жизни России, в том числе в период развития реализма. Как нам кажется, это отражает в первую очередь количественное, но ни в коей мере не качественное свойство таких исследований. Несмотря на ограниченное количество представленных в сборнике статей, в их тематике и материале тем не менее очевидно влияние именно такого подхода к изучению литературы: экспансия «канона» (что бы мы ни понимали под этим термином, который также подвергся плодотворной ревизии в последние годы) «вглубь» и «вширь».

Идея увеличения слоев литературного материала, доступных исследователям, основана на отказе от оценочного подхода и разделения текстов по принципу «высокого» и «низкого» качества. Примером такого метода могут служить работы А. И. Рейтблата, реконструировавшие литературный и социальный контекст канонических произведений. Такие исследования привлекают внимание к текстам и артефактам популярной культуры, которые со временем не просто выпали из канона, а вообще остались за пределами истории литературы. Особенность таких исследований последнего времени состоит в том, что эти источники интегрируются в литературный процесс не в связке с «большими» именами (рецепцией Достоевским криминального романа занимался еще Р. Г. Назиров), а как самозначимые феномены – в связке с историческими этапами развития культуры. Так, например, сборник «Русские писатели на рубеже веков: сумерки реализма»<sup>114</sup> под ред. К. Бауэрс и А. Кокобобо 2015 года показывает в том числе, как жанры популярной литературы, такие как готика и роман ужасов, функционируют как составные части реалистического стиля. Книга Клэр Уайтхед «Поэтика ранней русской уголовной прозы, 1860–1917» (2018)<sup>115</sup> также рассматривает этот нишевый литературный феномен на равных правах с каноническими текстами эпохи и демонстрирует, как его включенность в реализм сказалась на его судьбе в XX веке в соцреализме и постсоветском литературном пространстве. Популярные жанры XX века (в том числе в эфемерных публикациях брошюр и газет) благодаря исследованиям повседневности хорошо интегрированы в историю литературы, как и популярные тексты второй половины XIX века (обзорное исследование Джеффри Брукса о популярной литературе после 1880-х здесь стоит рядом с книгой Бориса Дралюка о русском Пинкертоне 1904–1937 годов)<sup>116</sup>, а вот аналогичный ландшафт середины XIX века только-только становится объектом масштабного изучения<sup>117</sup>.

Расширение канона требует возвращения в него фигурантов литературной сцены, чьи сочинения по разным причинам были исключены из историй литературы. В первую очередь, этим занимается феминистская историография, весьма плодотворно исследующая тексты русского реализма. Работы Хильде Хоогенбоом о теории реализма Надежды Хвошинской<sup>118</sup> и общий разбор архива сестер Хвошинских Джен Гит<sup>119</sup> предоставляют богатый материал

<sup>114</sup> Russian Writers and the Fin de Siècle: The Twilight of Realism / Ed. by K. Bowers and A. Kokobobo. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

<sup>115</sup> Whitehead C. The Poetics of Early Russian Crime Fiction 1860–1917: Deciphering Stories of Detection. Oxford: Legenda, 2018.

<sup>116</sup> Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Culture, 1861–1917. Princeton: Princeton University Press, 1985; Dralyuk B. Western Crime Fiction Goes East: The Russian Pinkerton Craze 1907–1934. Leiden: Brill, 2012.

<sup>117</sup> См., например, сборник: Reading in Russia. Practices of Reading and Literary Communication 1760–1930 / Ed. by D. Rebecchini and R. Vassena. Milan: di/Segni, 2014; Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон (Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX) / Под ред. А. Вдовина и Р. Лейбова. Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 2013.

<sup>118</sup> Hoogenboom H. «Ya rab deistvitel'nosti»: Nadezha Khvoschchinskaia, Realism, and the Detail // Vieldeutiges nicht-zu-ende-sprechen: Thesen und Momentaufnahmen aus der Geschichte russischer Dichterinnen. Fichtenwalde: Göpfert, 2002. P. 129–149.

<sup>119</sup> Gheith J. M. Finding the Middle Ground: Krestovskii, Tur, and the Power of Ambivalence in Nineteenth-Century Russian Women's Prose. Evanston: Northwestern University Press, 2004.

для осмысления роли этих писательниц не только в практике, но и в теории русского реализма. В книге «Благородные чувства и развитие русского романа»<sup>120</sup> Хоогенбоом развивает эту идею, утверждая, что «сентиментальный реализм» текстов, написанных женщинами, представляет важную часть теоретического костяка русского реализма. Хоогенбоом, Арья Розенхольм, Джейн Т. Костлоу и др., таким образом, продуктивно применяют теории Наоми Шор и Маргарет Коэн<sup>121</sup> о функционировании текстов, написанных женщинами, в период развития реализма.

Наконец, расширение канона в четвертое, материальное, измерение предполагает использование таких методологий, как археология медиа, для выявления новых пересечений различных форм и материальных носителей, в которых осуществлялось функционирование текстов реализма, вдобавок к рассмотрению уже известных пересечений реализма с материальной культурой, живописью и музыкальными формами. Сюда же можно отнести методы эко-критики, которая тоже хорошо работает с русским реализмом – в нашем сборнике примером такого подхода выступает статья К. Каминского и Э. Мартина о русском лесе, которая идет формальными путями, намеченными в важном исследовании Дж. Т. Костлоу «Кондовое сердце России: прогулки и описания русского леса в XIX веке»<sup>122</sup>.

В транснациональном изучении реализма есть и серые зоны – общие вопросы, которые либо еще не поставлены, либо пока остаются без ответа. Среди них, например, напрашиваются следующие: почему социальное воображаемое русского реализма порождает иные типы сюжетов в рамках общеевропейских жанровых моделей? Поставляла ли русская наука XIX века русскому реализму теории в той же мере, что и другие национальные науки? Отражались ли преломленные в российском контексте западные политэкономические модели на формальной и тематической проблематике русского реализма? Иначе ли работали механизмы репрезентации этого, быть может, наиболее саморефлексивного извода реализма? Чем можно объяснить тот парадокс, что при наличии в культурном пространстве эпохи сравнительно радикальных взглядов на «женский вопрос» роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась, сравнительно, скажем, с британским вариантом, весьма ограниченной? Сеем надеяться, что статьи, представленные в сборнике, послужат отправным пунктом для дальнейших исследований, направленных на разрешение этих и других вопросов.



Наш сборник не состоялся бы, если бы авторы статей не проявили горячего интереса к его проблематике, а рецензенты в кратчайшие сроки не подготовили отзывы. Вряд ли нужно добавлять, что сама идея воплотилась на бумаге благодаря заинтересованности главного редактора издательства «Новое литературное обозрение» И. Д. Прохоровой, которой мы глубоко признательны за поддержку и веру в успех нашего проекта.

<sup>120</sup> Hoogenboom H. Noble Sentiments and the Rise of Russian Novels. Toronto: University of Toronto Press, 2020 (forthcoming).

<sup>121</sup> См.: Schor N. Breaking the Chain: Women, Theory, and French Realist Fiction. New York: Columbia University Press, 1985; Cohen M. The Sentimental Education of the Novel. Princeton: Princeton University Press, 1999; Spectacles of Realism: Body, Gender, Genre / Ed. by M. Cohen and Ch. Prendergast. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995.

<sup>122</sup> Costlow J. T. Heart-Pine Russia: Walking and Writing the Nineteenth-Century Forest. Ithaca: Cornell University Press, 2013.

## Социальное воображаемое и проблема жанров

### Белинский и «конец искусства» «Эстетика» Гегеля и становление русского реализма

Вадим Школьников

#### I. Вступление: Белинский и «Эстетика» Гегеля

«Эстетика» («Лекции по эстетике») Гегеля оказала определяющее воздействие на развитие воззрений Белинского и в особенности на его «реализм». Под «реализмом» я имею в виду специфическую, локализованную в обществе и истории *структуру сознания* (*Gestalt des Bewußtseins* по Гегелю), модель осмысления мира и взаимодействия с ним<sup>123</sup>. Как показывает Л. Я. Гинзбург, именно так понятие «реализма» толковалось его первыми русскими адептами, в том числе Герценом и тем же Белинским:

Понятие *реализм* у Герцена не только покрывает его философскую систему; реализм Герцен трактует чрезвычайно широко. Борьба за реализм охватывает сферы политики, философии, науки, искусства, семейных отношений, быта, становится борьбой за новое понимание человека. <...> И это непременно переход знания в деяние, теории – в практику построения нового мира<sup>124</sup>.

В начале 40-х годов для Герцена, для Белинского реализм – это в сущности метод построения нового, разумного мира<sup>125</sup>.

Соответственно, «Эстетика» Гегеля служит Белинскому далеко не только источником теоретических суждений об искусстве<sup>126</sup>. Вместе с другими частями гегелевской системы, занимавшей Белинского со времен его участия в кружке Станкевича, «Эстетика» предоставляла ему концептуальный аппарат для осмысления собственной личности, общественной деятельности и бытования реалистической литературы в среде зарождающейся интеллигенции. Это не значит, однако, что Белинский избрал эстетизирующий подход ко всем этим сферам и истолковывал их по законам искусства. Напротив, хорошо усвоив многие положения «Эстетики», «реалист» Белинский должен был отозваться (хотя бы бессознательно) на самое спорное из них: пресловутый тезис о «конце искусства». Предлагаемая работа посвящена отзвукам и следствиям этого гегелевского тезиса в трех различных областях «реалистического» сознания Белинского: в знаменитой идее «примирения с действительностью»; в эволюции его представлений об обществе и «социальности»; и в его взглядах на сходство литературы и науки.

---

<sup>123</sup> См.: Гегель Г. Ф. В. Феноменология духа / Пер. Г. Г. Шпета. М.: Наука, 2000. С. 24. В терминологии Гегеля *Gestalt des Bewußtseins* (структура или форма сознания) не тождественна понятию «мировоззрение», *Weltanschauung*. В «Феноменологии духа» *Weltanschauung* употребляется только в одном контексте, при рассмотрении *морального мировоззрения* Канта. Моральное мировоззрение Канта является лишь одной из множества структур сознания, описанных у Гегеля. Структура сознания определяется в конечном итоге феноменологическим исследователем, который видит то, что сознание не знает о самом себе: как каждая структура сознания в своем имманентном развитии приходит к внутреннему противоречию и самоотрицанию.

<sup>124</sup> Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. Л.: ГИХЛ, 1957. С. 4.

<sup>125</sup> Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999. С. 95.

<sup>126</sup> О схождениях между эстетическими суждениями Белинского и Гегеля см.: Terras V. Belinskij and Russian Literary Criticism: The Heritage of Organic Aesthetics. Madison, WI: Wisconsin University Press, 1974. P. 59–69.

Понимание реализма как «структуры сознания» лежит в основе гегельянской типологии реалистического романа, предложенной Маршаллом Брауном. Он видит в различных конкурирующих определениях реалистического романа «частичные истины» и считает возможным объединить их в единой диалектической конструкции, опирающейся на определение действительности (*Wirklichkeit*), в гегелевской «Науке логики». Настоящая работа ставит себе несколько иные задачи: «реалистическое» сознание Белинского будет вписано здесь в исторический континуум, очерченный Гегелем в «Эстетике». Я разделяю, однако же, общую посылку Брауна о том, что начала реализма – представленного, в частности, романом второй половины XIX века – лежат вне его самого. Как заключает Браун, «значение – или, говоря языком Гегеля, „истина“ – реализма обнаруживается в системе, неведомой самим реалистам»<sup>127</sup>.

Гегелевские «Лекции по эстетике» (*Vorlesungen über die Ästhetik*) вышли из печати посмертно в 1835 году и почти сразу же стали известны в России. Белинский, как принято думать, не читал по-немецки, но к 1837–1838 годам ознакомился с важнейшими идеями этой книги с помощью своих друзей, Каткова и Бакунина, составлявших для него конспекты<sup>128</sup>. Можно, конечно, оспаривать состоятельность такого опосредованного усвоения «Эстетики» и других трудов Гегеля, но для Белинского оно было моментом глубокого эмоционального опыта: «Я брал мысли готовые, как подарок; но этим не всё оканчивалось, и при одном этом я ничего бы не выиграл, ничего бы не приобрел: жизнью моею, ценою слез, воплей души, усвоил я себе эти мысли, и они вошли глубоко в мое существо»<sup>129</sup>. Сам Белинский доверял своему пониманию «Эстетики» и опирался на нее в своих печатных статьях, вводивших идеи Гегеля в русское общественное сознание и составивших эпоху в отечественной литературной критике.

Очерченная в «Эстетике» общая история искусства оканчивается с эпохой романтизма, и к моменту смерти Гегеля в 1831 году ни в одной европейской литературе «реализм» не стал еще признанным знаменем эпохи. Однако начальную теорию реализма можно усмотреть уже в необычайно широком определении романтизма в «Эстетике» – включающем все искусство христианской Европы после заката Античности, а не только обозначившиеся к концу XVIII века течения в английском и немецком искусстве. По словам Гегеля, «подлинным содержанием романтического служит абсолютная личная жизнь <...> духовная субъективность <...> Бесконечную ценность обретает теперь действительный отдельный субъект в его внутренней жизненности»<sup>130</sup>. В результате, однако, «дух <...> становится уверенным в своей истине лишь благодаря тому, что <...> полагает внешнюю реальность как некое несоразмерное ему существование»<sup>131</sup>. Гегелевская концепция романтизма вводит, таким образом, важнейшую идею *отчуждения*, которая будет тесно связана с художественным реализмом XIX века и ляжет в основу «Теории романа» (1920) Лукача. Согласно Лукачу – чья теория опирается на сочинения узловых авторов русского и европейского реализма: Бальзака, Флобера, Гончарова, Достоевского и Толстого – роман представляет собой «историко-философское выражение взаимного отчуждения человека и созданных им структур <...> когда человек оказывается одиноким и может обрести смысл и субстанцию только в своей бездомной душе; когда мир <...> становится жертвой своей имманентной бессмысленности»<sup>132</sup>.

<sup>127</sup> Brown M. The Logic of Realism: A Hegelian Approach // PMLA. 1981. Vol. 96. No 2. P. 224.

<sup>128</sup> Белинский В. Г. Письмо М. А. Бакунину от 1 ноября 1837 // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. Т. 11. С. 189, 649. См. также: Белинский В. Г. Письмо Н. В. Станкевичу от 29 сентября – 8 октября 1839 // Там же. С. 386–387.

<sup>129</sup> Белинский В. Г. Письмо Бакунину от 10 сентября 1838 // Там же. С. 281.

<sup>130</sup> Гегель Г. В. Ф. Эстетика / Под ред. с предисл. М. А. Лифшица. М.: Искусство, 1968–1973. Т. 2. С. 233–234.

<sup>131</sup> Там же. С. 232.

<sup>132</sup> Лукач Г. Теория романа // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 36, 53.

Антагонизм между отдельным субъектом и внешним миром играет важнейшую роль в хорошо известном эпизоде духовной эволюции Белинского – в его предполагаемом отказе от гегельянства и от «примирения с действительностью» (к этому эпизоду мы еще вернемся)<sup>133</sup>. В письме В. П. Боткину от 1 марта 1841 года Белинский писал: «Я давно уже подозревал, что философия Гегеля – только момент, хотя и великий <...> Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом»<sup>134</sup>. Хотя Гинзбург говорит о «периоде кризиса гегельянских идей»<sup>135</sup> у Белинского, его отказ от примирения с бесчеловечной действительностью не выходит за пределы гегелевского определения романтизма: «Чем меньше [дух] считает форму внешней действительности достойной себя, тем меньше он может искать в ней свое удовлетворение и находить примирение с собой в единстве с ней»<sup>136</sup>. Вообще, в гегельянской перспективе трудно провести четкую границу между романтизмом и реализмом<sup>137</sup>.

Более того, исследуя постепенную *секуляризацию* романтического искусства, Гегель отмечает ее внимание к жизненной прозе и способность прозревать художественность в любых областях человеческого существования – то есть те самые черты, через которые обычно определяется реализм. Абсолютная ценность внутреннего, духовного существования человека впервые проявилась, согласно Гегелю, в христианстве, и романтизм был первоначально сугубо религиозным искусством. Однако по мере своего развития, соответствующего по внутренней логике протестантизму<sup>138</sup>, романтизм обращается в совершенно светское искусство, и стоявшее в его средоточии «возвышение конечного человека к богу» приходит в «земной мир»<sup>139</sup>.

В изображениях романтического искусства все находит себе место: все жизненные сферы и явления, большое и малое, высокое и ничтожное, нравственное, безнравственное и злое. Чем больше это искусство становится мирским, тем в большей мере оно захватывает конечные явления мира. Эти явления становятся излюбленными предметами его изображения, оно делает их полностью значимыми, и художник чувствует себя хорошо, изображая их такими, каковы они есть<sup>140</sup>.

В этом рассуждении без труда узнаются главные моменты очерченной Белинским эстетики «натуральной школы» как первой фазы русского реализма<sup>141</sup>. Так, сборник «Физиология Петербурга» явным образом стремился распространить сферу литературы на «все явления», извлеченные из петербургской повседневности, и сделать их «полностью значимыми». Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский констатировал, что «писатели нату-

<sup>133</sup> Д. И. Чижевский настаивал, что все ранние русские гегельянцы со временем отвергли Гегеля и вообще немецкую философию: «„Разочарование“ в философии было следствием чрезмерных требований, которые к ней предъявлялись, чрезмерных ожиданий» (Чижевский Д. И. Гегель в России. Париж, 1939. С. 239). Сходным образом, Херберт Боуман объяснял напряженные взаимоотношения Белинского с гегельянством его изначально «ошибочным пониманием» Гегеля (Bowman H. Vissarion Belinski. A Study in the Origins of Social Criticism in Russia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954. P. 23). Напротив, Плеханов хорошо видел, что, несмотря на осуждения Гегеля в письмах к Боткину, Белинский до конца жизни оставался гегельянцем (Плеханов Г. В. Сочинения / Под ред. Д. Рязанова. М.: Л.: Гос. изд-во, 1925. Т. 10. С. 343).

<sup>134</sup> Белинский В. Г. Письмо В. П. Боткину от 1 марта 1841 // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 12. С. 22.

<sup>135</sup> Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. С. 99.

<sup>136</sup> Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 240.

<sup>137</sup> О совпадении романтизма и реализма см.: Fanger D. Dostoevsky and Romantic Realism. Chicago: University of Chicago Press, 1965.

<sup>138</sup> Ср. в «Эстетике»: «только протестантизму свойственно всецело входить в прозу жизни, признавать за ней, взятой самой по себе, независимо от религиозных отношений, полную значимость и предоставлять ей развертываться с неограниченной свободой» (Т. 2. С. 309).

<sup>139</sup> Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 242.

<sup>140</sup> Там же. С. 306.

<sup>141</sup> Об эстетике натуральной школы см.: Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М.: Просвещение, 1982; Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе: Русский физиологический очерк. М.: Наука, 1965.

ральной школы» «любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, описывают углы, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности»<sup>142</sup>. Такой выбор тем, увиденный глазами Белинского, неизменно ассоциируется с демократическими импликациями русского реализма.

Однако здесь мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, романтическое искусство погружается больше других в повседневный быт, «располагается на этой почве как в правомерной в самой себе и удовлетворяющей его стихии». «С другой стороны, это же самое содержание низводится духом до степени чистой случайности, которая не может претендовать на самостоятельную значимость, так как дух не находит в ней своего истинного существования»<sup>143</sup>. Эту проблему распознает и Лукач, усматривающий «объективность» романа «в зрелом понимании той истины, что смысл никак не может полностью пронизать действительность, но и она без него распадается в ничто»<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 10. С. 296.

<sup>143</sup> Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 238.

<sup>144</sup> Лукач Г. Указ. соч. С. 47.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.